

Библиотека журнала «Иностранная литература»

Стивен Винсент Бене

За зубом к Полю Ревиру



Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Stephen Vincent Benét

Стивен Винсент Бене

За зубом к Полю Ревиру

Рассказы

Перевод с английского

Предисловие А. Зверева

Составление
В. Голышева и А. Зверева

Москва
«Известия»
1988

Ответственный редактор В. С. Перехватов

Рецензент И. М. Левидова

На обложке — картина американского художника Гранта Вуда «Полуночная скачка Поля Ревира»

«Потоков рожденье...»

При жизни Стивену Винсенту Бене (1898—1943) выпало испытать и громкую славу, и нападки литературных антагонистов, считавших его глубоко старомодным писателем. Пик славы пришелся на 20-е годы, и это неудивительно: Бене — плоть от плоти яркого поколения, которое дало американской литературе Фицджеральда и Хемингуэя, Дос Пассоса и Каммингса, Вулфа и Ринга Ларднера. Почти ровесники, они изначально были очень друг другу близки всем характером мирочувствования. Редко случается, чтобы даты рождения оказались настолько значимыми.

Об этой значимости позаботилась история. Юность тех, кто начинал в 20-е годы, шла под далекий, едва слышный через океан грохот сражений первой мировой войны. Кто-то из них, как Хемингуэй и Каммингс, в отрядах Красного Креста поспешил к месту событий, не дожидаясь, когда на передовой появятся американские дивизии. Другим осталось наблюдать европейскую бойню со стороны, и они, подобно Фицджеральду, томились в армейском лагере где-то в Алабаме или, как Фолкнер, едва успевали примерить форму летного училища. Но потрясение, произведенное войной, ощутили они все. Война означала конец большой эпохи. Время раскололось, и смутно обозначилось начало нового, незнакомого мира.

Бене тогда был студентом Йельского университета, одного из самых старых и наиболее престижных в США. Сын кадрового военного, он рвался на фронт, но пришлось довольствоваться йельскими буднями, решительно не изменившимися, словно ничего серьезного не происходило за увитыми плющом оградами колледжей. Рутина держалась крепко, а все-таки свежим ветерком потянуло и в этих аудиториях, помнивших голоса людей, чьи имена вошли

в историю. Интересам и увлечениям молодых сухая ученость отвечала менее всего. Уже слышались сетования на их вызывающую непочтительность к авторитетам, на их легкомыслие, насмешливость, цинизм.

Вскоре вернутся воевавшие, и тут выяснится, что отнюдь не мимолетной модой было это презрение к практицизму, в чем бы он ни проявлялся, эта жажда сиюминутной радости, этот скепсис в отношении былых ценностей. Очень часто все это проявлялось в формах едва ли не шутовских, хотя даже за откровенными проделками, предназначенными дразнить приверженцев благопристойности и традиций, распознавался дух времени. В тогдашнем умонастроении было много безрассудного, эфемерного, наносного, были позерство и игра. Но было и нечто серьезное. Ведь в конечном счете это умонастроение явилось отзвуком той ломки, которой подвергся миропорядок, потрясенный войной и Октябрьской революцией. Оглядываясь на свою юность, Фицджеральд напишет: «Казалось, что пройдет год-другой, и старики уйдут наконец с дороги, предоставив вершить судьбы мира тем, кто видел вещи как они есть». Этого не произошло. Но сама вера в это у лучших из того поколения была святой, какой бы наивной ни виделась она нам сегодня.

Бене безраздельно принадлежал этой эпохе с ее беспокойной атмосферой. Эпоха жила предчувствием социальных катастроф и коренных перемен всего порядка жизни; в стихах молодого Бене эти предчувствия неотступны и неотступно желание осознать «вещи как они есть» — без самообманов. Эмоциональный регистр его поэзии той поры предугадуем: жестокая ирония на одном полюсе, героика — на другом. Бене беспощаден, когда в поле его зрения попадают ханжи и демагоги, староверы и духовные мастодонты, вздыхающие над безумствами «гибнущей» молодежи. Его смех разит без промаха. Его гротеск граничит с шаржем, а сарказм густо подчеркнут, словно в клоунских репризах, не страшащихся никакого преувеличения.

И тот же Бене становится патетичным, несколько велеречивым, едва под его пером начнут оживать прекрасные страницы американской истории, вписанные революционерами 1776 года, а затем борцами против рабства, мечтавшими о неущемленной демократии, об истинном царстве справедливости.

Две эти стихии — едкое остроумие и высокая риторика — существуют, почти не пересекаясь, в творчестве Бене до самого конца 20-х годов, когда увидел свет его поэтический манифест, каким оказалась поэма «Тело Джона Брауна». Заглавием поэмы послужила строка песни, с которой шли на поле боя полки северян. В 1859 году, за два года до Гражданской войны Джон Браун с небольшим отрядом поднял восстание, послужившее ее прологом. Восстание подавили, а Джона Брауна повесили, но в памяти народа он остался навеки. О его мужестве на бастионах форта Харперз-Ферри, а потом в суде ходили легенды. Он становился фольклорным персонажем и приобретал те обобщенные черты, которые всегда присущи героям, вбирающим в себя целые пласты исторического опыта нации.

Такие герои притягивали Бене неодолимо. Он видел в них исток и начало американского самосознания, сгусток энергии, определившей динамику движения американской истории в ее величественных взлетах и трагических кульминациях.

Опасность, подстерегавшая Бене, пока он придерживался подобного взгляда на фольклор и на всю национальную мифологию, обнаружилась быстро — ею была идеализация, чреватая поэтической выспренностью и риторикой. Бене воспевал исходный героический порыв и терялся перед противоречиями, обусловившими последующее угасание или перерождение идеалов, так отчетливо выраженных в людских судьбах, которые сделались преданием. Первотолчок не сопрягался с завершением, отнюдь не оправдавшим великих ожиданий; начала и концы не обретали в поэ-

зии Бене художественного единства. Происходила мифологизация истории, тогда как целью Бене была историческая правда.

Он долго бился над этой задачей, постепенно приближаясь к ее решению, по мере того как иссякал энтузиазм 20-х годов и драматически менялась Америка, пережившая невиданных масштабов социальную встряску, какой стало следующее десятилетие. То, что в эти годы создавал Бене,— «Ода Уолту Уитмену, написанная во время кризиса», антифашистская стихотворная публицистика («Литания для современных диктатур», «Кошмарный сон в разгаре дня»), а особенно поэтический эпос «Западная земля», так им и не завершенный,— говорило прежде всего о трудно обретенной способности воспринимать историческую жизнь во всем объеме ее содержания: от самых ранних эпизодов, окутанных романтикой и надеждой, до сиюминутной злобы дня. Дело было не в том, что раздвинулись хронологические рамки. Иным стало художественное мышление Бене. «Отселе я вижу потоков рожденье И первое грозных обвалов движенье»... Если не толковать строки Пушкина просто как кавказский пейзаж, пожалуй, ими можно всего точнее определить ту точку, с какой смотрит на историю родной страны Бене в самых значительных своих произведениях.

Они помечены 30-ми годами — грозным, драматическим временем, когда угроза, исходившая от фашизма, росла буквально на глазах, и уже полыхала война в Испании, и впереди, как сказал Хемингуэй, было «пятьдесят лет необъявленных войн». Подобно герою хемингуэевской «Пятой колонны», которому принадлежит эта ставшая крылатой фраза, Бене тоже «подписал контракт на участие в них всех» — чтобы защитить гуманность, разум и человеческое достоинство. Откроем его «Литанию для современных диктатур», поэму, написанную в 1938 году, вчитаемся в полные боли и гнева строки

О тех, кто выращивал хлеб и был застрелен возле снопов,

О тех, кто выращивал хлеб и был отправлен в пески
или в тундру
И там тосковал, как по раю, по хлебному полю,
О тех, на кого донесли их родные дети, чистенькие
гаденыши,
В награду получившие мятный пряник
и похвалу Образцового Государства,
О всех задушенных, кастрированных и просто уморенных
голодом
Во имя создания Образцовых Государств...

Перевод М. Бородицкой

А теперь обратимся к одной из самых замечательных новелл Бене, «Кровь мучеников». Может быть, она и не очень для него характерна, подразумевая стилистику, которая обычно отличала Бене. Но не написать ее он не мог.

Человек, ожидающий расстрела в фашистской тюрьме, хотел служить только науке, не обращая внимания на политику, которая ему глубоко безразлична. Он верил в испытанные научным анализом факты, и только. Он старался не замечать даже исчезновения самых талантливых своих учеников, подпавших под действие закона о чистоте расы, старался игнорировать преступный конформизм коллег, обладавших в своей области мировым именем. И все-таки ему оказалась уготована судьба мученика, та, которую с ним разделяли тысячи и тысячи людей, еще вчера и не помышлявших, что их ждет прямое столкновение с системой бесчеловечности, воплощенной фашистскими «образцовыми государствами». А значит, ждет и тот неотвратимый выбор, перед которым оказался — и не дрогнул — профессор Мальциус.

Этот рассказ Бене появился незадолго до брехтовской «Жизни Галилея». Сегодня новелла американского поэта, как и драма великого немецкого реформатора театра воспринимаются как разведка темы, которой, как выяснилось после Хиросимы, было уготовано очень большое будущее,— темы ответственности людей науки, тяжко

расплачивающихся за иллюзии в том роде, будто они служат чистому знанию и это оправдывает компромиссы, вынужденно совершаемые за стенами лабораторий. Но тогда, в 30-е годы, «Кровь мучеников» прозвучала по-другому: как удар колокола, призывающий опознать беду, обрушившуюся на человечество. И среди написанного Бене этот рассказ останется как одно из неоспоримых свершений.

Он умел становиться суровым хроникером и беспощадным обличителем, этот литературный антиквар, каким считали Бене ценители его прозаических и стихотворных повествований, обращенных к далекой старине, о которой с нежностью сказано в стихотворении «Американские названия»:

Я полюбил с незапамятных пор
Острую свежесть этих имен,
Мне по душе этот пестрый узор:
В яркой раскраске Индейский Каньон,
Мертвая Роща, Косматый Бизон.

Перевод М. Бородицкой

Он вообще на редкость разнообразен в своих творческих устремлениях. В «Крови мучеников» — высокая публицистика и драматический накал, а в другом антифашистском рассказе, «Кошачий король»,— фантазия, гротеск, «дьяволиада», невероятная ситуация и условные персонажи. Однако и ситуация, и персонажи обретают зловещую реальность, а для этого достаточно хотя бы упоминания о черной рубашке, подаренной Муссолини и красующейся на знаменитом дирижере, который не только по диковинной внешности, но по всей своей сути схож с Князем тьмы, принявшим очень современное обличье авантюриста от искусств, возведенного фашизмом в ранг великого музыканта.

В «Кошачьем короле» феерический финал, вряд ли способный внушить читателю успокоение оттого, что он внешне благополучен. Напротив, самое запоминающееся в но-

велле Бене — та доверчивость к зловещим мистификациям, которую выказывает американское общество во время гастрольных триумфов маэстро Тибо за океаном. И сама вакханалия, сопутствующая этим гастролям, сама безоглядная мода на все сиамское — от кошек до принцесс,— конечно, иносказательный образ, за которым скрыта острая тревога Бене. Не беспричинная тревога: на каждом шагу он убеждался в непробиваемом душевном очерствении своих сограждан, словно не чувствовавших поднявшегося в мире урагана, пока он не обрушился на них самих.

Близкое, очень близкое будущее подтвердит зоркость Бене, уже в 30-е годы распознавшего опасности, которые Америка считала для себя нереальными. И в творчестве Бене тех лет более всего примечательно неотступное, безошибочное чувство надвинувшегося испытания, в котором человеку предстоит пройти проверку на стойкость гуманных своих начал, на духовную зрелость и гражданское мужество.

Он лучше многих своих литературных современников различал, как зарождаются исторические потоки и какие обвалы они с собой несут.

Может быть, это определяющее свойство дарования Бене и его творческой индивидуальности.

В полной мере оно выявилось лишь под конец недолгого писательского пути Бене, и, чтобы это произошло, он вынужден был многим пожертвовать — прежде всего литературным престижем, так быстро завоеванным в годы писательской юности. Бене ценили, пока он оставался острословом, умеющим пригвоздить к позорному столбу любое ничтожество, но его попытки воссоздать ход американской истории показались вымученными, потому что не соответствовали уже укоренившейся репутации этого поэта. Критика обвиняла его в высокопарности, искусственности, ходульности, словно не замечая, что создаваемые Бене картины расцвечены сотнями живых штрихов, помогающих не просто добиться объемности изображения, но донести

историческую истину в реальном богатстве ее содержания. Называя Бене консерватором в искусстве, проглядели то движение к реализму, которое было сущностью его творческих исканий.

Оно происходило в поэзии Бене 30-х годов, и столь же отчетливо оно выявилось в его прозе. Он не слишком высоко ценил свои новеллы, лишь незадолго до смерти собрав печатавшееся по журналам в небольшом сборнике «Истории, рассказанные на ночь» (1939). Проза оставалась для Бене, как теперь принято говорить, маргинальной областью творчества. Основные усилия были отданы эпической поэзии, и с нею связывались самые большие замыслы: имя Уитмена в заглавии «Оды, написанной во время кризиса» ясно сказало, что Бене задумывал собственные «Листья травы».

Будущее рассудило по-другому — поэтическая эпика Бене осталась, главным образом, достоянием литературоведов, а для широкого читателя его имя сохранили новеллы, писавшиеся от случая к случаю. В литературе такое происходит нередко. Многие ли сейчас помнят «Жанну д'Арк», которую Марк Твен считал главным делом своей жизни? Но без книг о Томе Сойере и Геке Финне мы не представляем себе американскую литературу.

Не раз писалось, что в Бене погиб прозаик, который мог бы потягаться с любым из своих прославленных соотечественников и современников. Это не совсем точно: и масштабы дарования все же не те, что у Фолкнера или Вулфа, и поэзия Бене, объективно говоря, явление слишком крупное, чтобы вести речь о несостоявшейся писательской судьбе. Вероятно, разумнее не противопоставлять, а сопоставлять то, что им написано в прозе и в стихах. Тут много общего, хотя, разумеется, у новеллы свои законы и традиции, с которыми Бене считался не по наитию, а совершенно сознательно.

Как прозаик он близок О. Генри, корифею рассказа, в котором обязательна фабульная интрига, а развязка, как

правило, неожиданна. После открытий Чехова и многому у Чехова научившегося Шервуда Андерсона такой тип новеллы стал исчезать из американской литературы уже во времена Бене, и рассказы, вошедшие в эту книжку, вовсе не сводимы к формуле, хорошо нам известной из наследия О. Генри. Но что-то от этой формулы они сохраняют. Порой это видно, что называется, невооруженным глазом. Прочтите «Все были очень милы», обратив внимание на последний абзац, даже на последнюю фразу,— вот он, непредсказуемый поворот, заставляющий совсем по-иному оценить героя и всю его предшествующую исповедь.

Может быть, покажется, что перед нами только артистический трюк, но на самом деле это не так. Бене слишком хорошо понимал, что эффект зависит не от событий самих по себе, но от атмосферы, в которой они развертываются. И эта атмосфера им воссоздана со всей необходимой тщательностью — при помощи тех самых мелочей, малозаметных подробностей, оттенков интонации, которыми так виртуозно владел Андерсон. Невольное саморазоблачение героя подготовлено не логикой фабулы, а логикой всего существования в мещанском мирке с его интересами, не простирающимися дальше адюльтера, который подогревается соперничеством ничтожных самолюбий. Поэтика финального аккорда, разработанная О. Генри, служит не занимательности, а серьезному художественному обобщению.

Это преобразование давно известных приемов особенно наглядно в тех новеллах Бене, где он использует исторические и фольклорные сюжеты. С детства увлекавшийся народными балладами о деятелях американской революции и о пионерах, прокладывавших пути на «индейскую территорию», простиравшуюся от Миссисипи до самого тихоокеанского побережья, Бене посвятил этим первопроходцам исторических путей Америки свои лучшие поэмы. Посвящен им и целый цикл новелл, объединенных не только материалом, но и стилистикой, а вернее, всем характе-

ром осмысления коллизий и персонажей, которые в них вовлечены.

Поль Ревир, Дэниел Уэбстер, Джонни Пай — обо всех них, реально существовавших и мифологизированных народным воображением, написано до Бене столько, что сами имена говорят американскому сознанию не меньше, чем нам, к примеру, имена Ивана Сусанина или княжны Таракановой. Писателю, обратившемуся к таким персонажам, нельзя не принимать во внимание давно закрепившийся образ, нельзя игнорировать поэтические ходы, найденные фольклором и предшествующей литературой. Бене и не пытается придать своим толкованиям подчеркнутую необычность. Он, кажется, вообще не вступает в спор с традицией. По первому впечатлению, перед нами просто обработка широко известных эпизодов хроник и преданий.

Но такое впечатление обманчиво. Этот сказ, перемежаемый где прибауткой, где афористической сентенцией, принадлежит художнику XX столетия, видящему не только истоки, но и завершения, способному проследить всю цепь событий, связывающих концы и начала. На пространстве эпической поэмы звенья этой протяженной цепи Бене воссоздавал последовательно и без пропусков, в новелле приходилось спрессовывать повествование; многое уходило в подтекст, однако не исчезало бесследно.

И вновь безотказно работала у Бене точная подробность, мимолетный штрих, который иной раз важнее, чем само описываемое происшествие. Его новеллы изобилуют действием, в них все время возникают новые фабульные кульминации, судьбы героев меняются внезапно и круто, но эта насыщенность неожиданностями, типичная для О. Генри и его учеников, у Бене, во всяком случае, не самоценна. Он тоже любит экзотические ситуации, и талмудист Якоб, перенимающий обычаи краснокожих, или подручный мельника, который затевает опасную игру со Смертью Дуракам,— персонажи, для него органичные. Другое дело, что Бене не дорожит их красочностью, позволяющей из-

влекать множество юмористических сюжетных положений. Юмор присутствует в его рассказах постоянно, однако еще ощутимее присутствует размышление о причудливых перепадах американской истории, о ее началах и концах.

Старая Америка, теперь воспринимаемая как едва ли не фантастическая страна и в фольклорном предании, на которое опирался Бене, действительно изображаемая осуществившимся царством фантазии, на его страницах предстает специфической и неповторимой реальностью, какую создала история. Повсюду в новеллах Бене видны и увлеченность этой исторической живописью, и большой содержательный смысл возникающих перед нами картин. Мы захвачены их достоверностью, мы словно видим все это самым непосредственным образом. И паруса в филадельфийской бухте, принимающей суда с переселенцами из какого-нибудь немецкого герцогства, которым предстоит осваиваться в просторном мире, сменив потертые камзолы на наряд из шкур и научившись торговать с индейскими вождями лентами да бусами. И наспех сколоченные городки, где толпа, уличив заезжего лекаря в шарлатанстве, тут же выносит его на шесте в чистое поле. И провинциальных олухов, по дешевке раскупающих часы с жучком, тикающим вместо механизма. И мастерскую серебряных дел ремесленника, изготовляющего «все новое — новых людей, новое серебро, может быть, кто знает? новую нацию».

Эта поразительно разноликая, неустоявшаяся, всклокоченная жизнь заокеанской республики в самые ранние годы ее становления у Бене показана настолько рельефно и емко, что сама многогранность образа заставляет задуматься о тех загадках, которые тогдашняя история оставила далеким потомкам, так и не нашедшим удовлетворительного ответа вплоть до наших дней. Если столь динамичным и разнородным было начало, отчего с ходом десятилетий действительность Америки становилась все более однотонной, пока ее не начали определять тусклые краски, что

преобладают в таких рассказах Бене, как «Очарование» или «Все были очень милы»? Отчего так измельчали, сделались настолько предсказуемыми людские помыслы и заботы, отчего, перефразируя заглавие еще одного рассказа Бене, цветение принесло плоды вовсе не те, какие сулило?

Собственного ответа не было и у Бене. Но у него было чувство движения истории, ощущение ее направленности, которое можно назвать почти безошибочным. Достоинство реальное и немаловажное. Наверно, ему Бене больше всего обязан тем, что и спустя полвека как поэт, как прозаик остается интересен читателям, сколько бы раз ни возвращалась американская литература к мотивам, его волновавшим.

А. Зверев

Из цикла «Рассказы об американской истории»

Дьявол и Дэниел Уэбстер

Вот какую историю рассказывают в пограничном краю, где Массачусетс сходится с Вермонтом и Нью-Гэмпширом.

Да, Дэниел Уэбстер умер — во всяком случае, его похоронили. Но когда над Топким лугом гроза, слышно, говорят, как раскатывается по небесам его голос. И говорят, если подойти к его могиле да позвать его громко и ясно: «Дэниел Уэбстер! Дэниел Уэбстер!» — задрожит земля и деревья затрясутся. И немного погодя услышишь басовитый голос: «Сосед, как там Союз стоит?» И уж тогда отвечай: «Крепко стоит Союз, стоит как скала в броне, единый и неделимый», а не то он прямо из земли выскочит. Так мне, по крайней мере, в детстве рассказывали.

И не было когда-то в стране человека больше его. В президенты он так и не вышел, но больше его человека не было. Многие надеялись на него почти как на Господа бога, и ходили про него и про все, что его касалось, истории в таком же роде, как про патриархов и тому подобных. Будто бы, когда он речь начинал говорить, на небе проступали звезды и полосы; а раз он с рекой заспорил и заставил ее в землю уйти. Говорят, когда он лес обходил с удилищем своим, Самобоем, форель из ручьев прямо в карманы к нему прыгала — знала, что от него не увильнешь. А в суде он так говорил, что на небе ангелы подпевать начинали, а глубь земная ходила ходуном. Вот какой это был человек, и большая ферма его на Топком лугу была ему под стать. Куры у него росли — сплошь из белого мяса, до кончиков когтей, за коровами ухажи-

вали, как за детьми, а у барана его, Голиафа, рога завивались как вьюн и прошибали железную дверь. Но Дэниел был не из фермеров-белоручек, он знал, чем земля живет; вставал он затемно и сам успевал присмотреть за всеми работами. Рот — что у твоего волкодава, лоб — гора, глаза — что уголья в топке,— вот каков был Дэниел в лучшие годы. А самое большое его дело в книги не попало, потому что тягался он с самим дьяволом — один на один, и не на живот, а на смерть. И вот как, рассказывают, это вышло.

Жил в Крестах, в Нью-Гэмпшире, человек по имени Йавис Стоун. Человек, надо сказать, неплохой, но незадачливый. Посадит он картошку — жучок сжует, посеет кукурузу — червь сгложет. Земля у него была добрая, да только не впрок ему; и жена была славная, и дети, да только что ни больше ртов у него в дому — еды все меньше делается. У соседа на поле камень вылезет, у него — валун вымахает. Купит он лошадь со шпатом — сменяет на лошадь с колером, да еще приплатит. Бывают же на свете такие люди. Но однажды все это Йавису опостылело.

В то утро он пахал и вдруг сломал лемех о камень — а вчера еще, поклясться мог, камня тут не было. Вот стоит он, смотрит на лемех, а правая лошадь закашлялась — тягучим таким кашлем, так что жди болезни и деньги готовь коновалам. А у двух ребят — корь, жена прихварывает, и у самого — нарыв на большом пальце. Нет больше сил терпеть. «Ей-ей,— говорит Йавис Стоун и глядит вокруг прямо-таки с отчаянием,— ей-ей, хоть душу черту продай! И продал бы, за два гроша продал бы!»

Сказал он этак, и стало ему не по себе, но, конечно, слов своих назад не взял, потому что — ньюгэмпширец. А все же, когда солнце село и видит он, что слова его не услышаны, от души у него отлегло — потому что все-таки верующий. Только все бывает услышано, раньше или позже, и об этом в Писании сказано. И точно, на другой день примерно к ужину подъезжает в красивой коляске

незнакомец в черном и вежливо спрашивает Йависа Стоуна.

А Йавис сказал своим, что это адвокат, приехал, мол, насчет наследства. Но сам он знал, кто это такой. Не понравился ему гость, особенно — как он зубы скалил, когда улыбался. Зубы белые, полон рот — и заточены, говорят, как иголки, но в этом я не поручусь. А еще ему не понравилось, что собака посмотрела на гостя, завыла и бросилась наутек, поджав хвост. Но, давши слово — хоть и не совсем,— Йавис не отступился, и пошли они с приезжим за сарай и заключили сделку. Йавису пришлось уколоть палец, чтобы расписаться, и незнакомец одолжил ему серебряную булавку. Ранка зажила быстро, но остался маленький белый шрам.

После этого дела у Йависа сразу пошли на лад, начал он богатеть. Коровы стали тучные, лошади гладкие, урожаи — соседям на зависть; молнии, бывало, по всей долине секут, а его сарай стороной обходят. Скоро стал он в округе одним из самых зажиточных людей. Предложили ему в окружную управу войти, и он вошел; поговаривать стали, что пора его выдвинуть в Сенат штата. Словом, зажила его семья счастливо, можно сказать, как сыр в масле катаются. Кроме Йависа.

Первые годы и он не тужил. Это большое дело — когда человеку начинает везти, тут и голову потерять недолго. Конечно, случалось, особенно в ненастье, нет-нет да и заноет белый шрамик. И раз в год, как часы, проезжал мимо в красивой коляске незнакомец. Но на шестой год он слез с коляски, и с этого дня Йавис Стоун лишился покоя.

Идет незнакомец нижним лугом, по сапогам тросточкой похлопывает — черные сапоги, красивые, но Йавису они еще в первый раз не понравились, особенно мыски. Поприветствовал его гость и говорит:

— Ну вы и молодчина, мистер Стоун. Знатное у вас, мистер Стоун, имение.

— Кому нравится, кому нет,— отвечал мистер Стоун, потому что он был ньюгэмпширец.

— Ну зачем же умалять свое трудолюбие? — сказал незнакомец легкомысленным тоном, улыбаясь во весь свой зубастый рот.— Мы же знаем, в конце концов, как вам это далось,— ведь все поставлено согласно договору и спецификации. Так что в будущем году, когда срок... кхм... закладной истечет, жалеть вам будет не о чем.

— Вот насчет закладной, сударь,— промолвил Стоун и огляделся вокруг, ища подмоги у земли и неба,— у меня насчет нее появляются кое-какие сомнения.

— Сомнения? — говорит незнакомец, уже без прежней приятности.

— Ну да,— сказал Йавис Стоун.— Тут все-таки США, а я как-никак человек верующий.— Он прокашлялся и заговорил смелее.— Да, сударь,— сказал он,— я начинаю сомневаться, что такая закладная будет признана судом.

— Есть суды и суды,— отвечал незнакомец, лязгнув зубами.— Впрочем, мы можем еще раз взглянуть на документ.— И вытащил большой черный бумажник, полный каких-то листков.— Симпсон... Слейтер... Стивенс... Стоун,— бубнил он.— Ага! «Я, Йавис Стоун, на семилетний срок...» Кажется, все в порядке.

Но Йавис Стоун не слушал, потому что он увидел, как из бумажника выпорхнуло что-то другое. Мотылек словно бы, да не мотылек. Смотрит на него Стоун, и чудится ему, будто он говорит тихим писклявым голосом, тонким ужасно, тихим ужасно — и ужасно по-человечьи: «Сосед Стоун! Сосед Стоун! Помоги мне, помоги ради бога!»

Но не успел Йавис и глазом моргнуть, как гость сорвал с шеи большой яркий платок, поймал в него это существо — прямо как бабочку — и начал связывать углы платка.

— Извините, что отвлекся,— сказал он.— Так вот, говорю...

А Йавис Стоун весь задрожал, как напуганная лошадь.

— Это голос Скряги Стивенса! — прохрипел он.— А вы его в платок!

Гость немного смутился.

— Да, правда, надо бы его в коробку поместить,— сказал он с ненатуральной ухмылкой,— но у меня там довольно редкие экземпляры, не хочется их стеснять. Что ж, случаются такие маленькие ляпсусы.

— Не знаю, что у вас там за ляпсусы,— отвечал Йавис Стоун,— только это голос Скряги Стивенса. А сам-то он живехонек! Ведь не скажете вы, что нет! Во вторник его видел — бодрый и прижимистый, как сурок!

— Во цвете лет...— промолвил приезжий, скорчивши постную мину.— Слышите? — В долине зазвонил колокол; Йавис Стоун слушал, и по лицу его катился пот. Он понял, что колокол звонит по Скряге Стивенсу и что Стивенс умер.

— Ох уж эти долгосрочные счета,— заметил незнакомец со вздохом,— до чего неприятно их закрывать. Однако дело есть дело.

Он все еще держал платок, и тошно было Йавису видеть, как он бьется и трепыхается в руке.

— Они все такие маленькие? — спросил он сипло.

— Маленькие? — повторил приезжий.— А-а, понимаю. Да нет, разные бывают.— Он измерил Йависа взглядом и осклабился.— Не беспокойтесь, господин Стоун, вы пойдете по первому классу. Я бы не рискнул держать вас не в коробке. Конечно, для такого человека, как Дэниел Уэбстер... для него нам пришлось бы построить специальный ящик — и даже тогда, полагаю, вас изумил бы размах крыла. Да, это была бы находка. Лестно было бы подобрать к нему ключик. Но в вашем случае, как я уже сказал...

— Уберите вы платок! — сказал Йавис Стоун и начал молить и клянчить. Но в конце концов выпросить ему удалось всего лишь трехлетнюю отсрочку — и то условно.

Если вам не приходилось вступать в такую сделку, вы

не представляете себе, как быстро могут пролететь четыре года. К концу их Йависа Стоуна знает весь штат, поговаривают, не выдвинуть ли его в губернаторы, а ему это все не в радость. Потому что каждое утро он встает и думает: «Вот еще одна ночь прошла», а вечером, как спать ложиться, вспоминает черный бумажник с душой Скряги Стивенса — и до того ему тошно делается... Наконец стало ему совсем невмоготу, и вот в последние дни последнего года запрягает он лошадь и едет искать Дэниела Уэбстера. Потому что Дэниел родился в Нью-Гэмпшире, как раз в нескольких милях от Крестов, и все знают, что к землякам у него особенная слабость.

На Топкий луг Йавис приехал спозаранок, но Дэниел уже на ногах — толкует по-латыни со своими работниками, с бараном Голиафом борется, нового рысака испытывает и отрабатывает речи против Джона К. Кэлхуна. Но когда услышал, что к нему пожаловал ньюгэмпширец, бросил все дела — такой уж был у него обычай. Угостил он Йависа завтраком, с каким пятеро не справились бы, разобрал по косточкам каждого мужчину и женщину из Крестов и наконец спрашивает гостя, чем может ему служить.

Тот отвечает, что дело вроде как о закладной.

— Давно я не брал дел по закладным,— говорит Дэниел,— да и не беру обычно, разве что в Верховном суде; но вам, если удастся, помогу.

— Тогда у меня в первый раз за десять лет появилась надежда,— говорит Йавис Стоун и излагает подробности.

Пока он рассказывал, Дэниел ходил по комнате — руки за спиной, то вопрос задаст, то пол глазами сверлит, словно буравами. Когда Йавис кончил, Дэниел надул щеки и выдохнул воздух. Потом повернулся к Йавису, и на лице его, как заря над Монадноком, занялась улыбка.

— Да, сосед Стоун, попросили вы у дьявола рогожу...— сказал он,— но я возьмусь вас защищать.

— Возьметесь? — переспросил Йавис, еще не смея верить.

— Да,— сказал Дэниел Уэбстер.— Мне еще примерно семьдесят пять дел надо сделать и Миссурийский компромисс подправить, но я возьмусь. Ибо если двое ньюгэмпширцев не смогут потягаться с дьяволом, тогда нам лучше вернуть эту страну индейцам.

Потом он крепко пожал Стоуну руку и спросил:

— Вы спешили, когда ехали сюда?

— Да, признаюсь, не задерживался,— ответил Йавис Стоун.

— Обратно поедете еще быстрей,— сказал Дэниел Уэбстер и велел запрягать Конституцию и Кульминацию. Они были одной масти, серые, с белой передней ногой, и летели как пара подкованных молний.

Ну, не буду описывать, как взволновалась и обрадовалась вся семья Стоуна, увидя, что к ним пожаловал сам Дэниел Уэбстер. У Йависа Стоуна по дороге сдуло шляпу, когда они обгоняли ветер, но он на это почти не обратил внимания. А после ужина он велел своим идти спать, потому что у него сугубо важное дело к мистеру Уэбстеру. Хозяйка хотела, чтобы они перешли в залу, но Дэниел Уэбстер знал эти залы и сказал, что в кухне лучше. Там они и сели ждать гостя: между ними на столе кувшин, в очаге огонь жаркий, а гость, согласно спецификации, должен прибыть, когда пробьет полночь.

Казалось бы, Дэниел Уэбстер и кувшин — лучшей компании нельзя и придумать. Но тикают часы, и Йавис Стоун глядит все печальнее и печальнее. Глаза его блуждают, и хоть прикладывается он к кувшину — видно, что вкуса не чувствует. И вот, как пробило половину двенадцатого, наклонился он и схватил Дэниела за руку.

— Мистер Уэбстер, мистер Уэбстер! — говорит он, и голос его дрожит от страха и отчаянной отваги.— Ради бога, мистер Уэбстер, запрягайте коней и езжайте отсюда, пока не поздно!

— Вы везли меня в такую даль, сосед, чтобы сказать мне, что вам неприятно мое общество,— спокойно отвечает Дэниел Уэбстер и потягивает себе из кувшина.

— Жалкий я горемыка! — застонал Йавис Стоун.— Я вас заставил связаться с дьяволом и теперь сам вижу свое безрассудство. Пусть берет меня, если хочет. Я не очень этого домогаюсь, надо сказать, но я потерплю. А вы — опора Союза и гордость Нью-Гэмпшира. Вы не должны ему достаться, мистер Уэбстер! Вы не должны ему достаться!

Дэниел посмотрел на огорченного человека, который побелел и весь дрожал возле очага, и положил ему на плечо руку.

— Весьма признателен вам, сосед Стоун,— сказал он мягко,— за вашу заботу. Но на столе у нас кувшин, а на руках — дело. А я ни разу в жизни не бросал того и другого на половине.

И как раз в эту секунду громко постучали в дверь.

— Ага,— хладнокровно заметил Дэниел Уэбстер,— я так и подумал, что часы у вас немного отстают, сосед Стоун.— Он шагнул к двери и распахнул ее.— Входите! — сказал он.

Вошел гость — очень темным и высоким показался он при свете очага. Под мышкой он нес коробку — черную лаковую коробку с маленькими отдушинами в крышке. При виде коробки Йавис Стоун тихо закричал и забился в угол.

— Господин Уэбстер, если не ошибаюсь,— промолвил гость очень вежливо, но глаза у него загорелись, как у лисицы в чаще.

— Адвокат Йависа Стоуна,— сказал Дэниел Уэбстер, но глаза его тоже загорелись.— Могу ли я узнать ваше имя?

— У меня их изрядно много,— беззаботно отвечал гость.— На сегодняшний вечер, пожалуй, довольно будет Облома. Меня часто так величают в здешних краях.

С этими словами он уселся за стол и налил себе из кувшина. Водка в кувшине была холодная, но задымилась, когда потекла в стакан.

— А теперь,— сказал гость, улыбаясь и показывая зубы,— я приглашаю вас как законопослушного гражданина помочь мне вступить во владение моим имуществом.

И тут начался спор, горячий и упорный. Сперва у Йависа Стоуна еще теплилась надежда, но когда он увидел, что Дэниела Уэбстера теснят в одном пункте за другим, он только съежился в углу, не сводя глаз с лаковой коробки. Потому что ни вексель, ни подпись не вызывали сомнений — это было хуже всего. Дэниел Уэбстер вертел и так и сяк и стучал кулаком по столу — но уйти от этого не мог. Он предложил мировую; незнакомец и слышать о ней не хотел. Тогда он заявил, что имущество повысилось в цене и сенаторы штата должны стоить больше; гость же настаивал на букве закона. Он был великий юрист, Дэниел Уэбстер, но мы знаем, кто Царь юристов, как сказано в Писании, и похоже было, что Дэниел впервые встретил себе ровню.

Наконец гость слегка зевнул.

— Ваше усердие в защите клиента делает вам честь, мистер Уэбстер,— сказал он,— но если вы не изволите привести других доводов, у меня туговато со временем...

И Йавис Стоун задрожал.

Дэниел Уэбстер нахмурился, как грозовая туча.

— Туговато или не туговато, а этого человека вам не видать! — загремел он.— Мистер Стоун американский гражданин, а ни один американский подданный не может быть призван на службу иностранному князю. Мы сражались за это с Англией в двенадцатом году и будем сражаться за это вновь со всеми силами ада!

— Иностранному? — повторил гость.— Интересно, кто это назовет меня иностранцем?

— Я что-то не слышал, чтобы дья... чтобы вы претендовали на американское гражданство,— с удивлением ска-

зал Дэниел Уэбстер.

— А кто мог бы с бóльшим правом? — осведомился гость с ужасной своей улыбкой.— Когда впервые притеснили первого индейца — я был там. Когда первое невольничье судно отплыло на Конго, я стоял на палубе. Разве нет меня в ваших книжках, рассказах и верованиях со времен самых первых поселенцев? Разве не поминают меня и сегодня в каждой церкви Новой Англии? Правда, на Севере меня почитают южанином, а на Юге — северянином, но я — ни то, ни другое. Я просто честный американец, как вы, и наилучших кровей, ибо, сказать по правде — хоть я и не люблю этим хвастать,— мое имя в этой стране древнее вашего.

— Ага! — сказал Дэниел Уэбстер, и на лбу его налились жилы.— Тогда я настаиваю на Конституции! Я требую суда для моего клиента!

— Дело это — вряд ли обычного суда,— заметил гость, мерцая глазами.— Да и в такой поздний час...

— Пусть это будет любой суд по вашему выбору, лишь бы судья был американец и присяжные американцы! — гордясь, промолвил Дэниел Уэбстер.— Живые или мертвые; я подчинюсь решению!

— Ну и чудесно,— ответил гость, направивши палец на дверь. И вдруг за нею послышались шум ветра и топот ног. Отчетливо и внятно доносился он из мрака. Но не похож был на шаги живых людей.

— Боже мой, кто это так поздно? — вскричал Йавис Стоун, дрожа от страха.

— Суд присяжных, которого требует мистер Уэбстер,— отвечал незнакомец, отхлебнув из дымящегося стакана.— Извините, если кое-кто из них явится в неприглядном виде,— дорога у них не близкая.

При этих словах в очаге вспыхнуло синим, дверь распахнулась, и друг за другом вошли двенадцать человек.

Если прежде Йавис Стоун боялся до полусмерти, то теперь он стал ни жив ни мертв. Ибо явились сюда: Уолтер

Батлер, лоялист, предавший огню и мечу долину Могавка во время Революции, и перебежчик Саймон Гёрти, который любовался тем, как белых людей сжигают заживо, и при этом гикал вместе с индейцами. Глаза у него были зеленые, как у пумы, и пятна на его охотничьей рубашке оставила не оленья кровь. Был тут и «Король Филипп», гордый и буйный, как при жизни, с зияющей раной в черепе, которая положила конец его жизни, и жестокий губернатор Дейл, ломавший людей на колесе. Был тут и Мортон с Веселой горы, с румяным, порочным, красивым лицом, так возмутивший Плимутскую колонию своей ненавистью к благочестию. Был тут Тич, кровожадный пират с черной бородой, спускавшейся кольцами на грудь. Его преподобие Джон Смит, в черной мантии, с руками душителя, шел так же грациозно, как в свое время — на эшафот. На горле его до сих пор краснел след от веревки, но в руке он держал надушенный платок. Так входили они один за другим, все еще в клочьях адского пламени, и гость называл их и описывал их дела, пока не закончил историю всей дюжины. Но он сказал правду — каждый из них сыграл свою роль в Америке.

— Вы удовлетворены составом суда, мистер Уэбстер? — насмешливо спросил гость, когда они расселись по местам.

На лбу у Дэниела выступил пот, но голос был внятен.

— Вполне удовлетворен. Хотя, на мой взгляд, в компании недостает генерала Арнолда.

— Бенедикт Арнолд занят другим делом,— ответил гость, глянув мрачно.— Ах, вам, кажется, нужен судья?

Он снова указал на дверь, в комнату вступил высокий человек с горящим взглядом изувера, в строгом протестантском платье и занял судейское место.

— Судья Хаторн — опытный юрист,— объявил гость.— Он председательствовал на некоторых ведьмовских процессах в Салеме. Были такие, кто потом раскаялся,— только не он.

— Раскаяться в столь славных и возвышенных ме-

рах? — проговорил суровый старый судья.— Нет, на виселицу их — всех на виселицу! — И он забормотал что-то себе под нос, да так, что у Йависа кровь застыла в жилах.

Потом начался суд, и, как вы сами догадываетесь, ничего хорошего он защите не сулил. И Йавис Стоун не многое сумел показать в свою пользу. Он взглянул раз на Саймона Гёрти и заверещал, и его, чуть ли не в беспамятстве, отвели обратно в угол.

Однако суд это не остановило, на то он и суд, чтобы не останавливаться. Дэниел Уэбстер повидал на своем веку и суровых присяжных, и судей-вешателей, но таких ему видеть не доводилось, и он это понимал. Они сидели, поблескивая глазами, а плавная речь гостя лилась и лилась. Всякий раз, когда он заявлял протест, слышалось: «Протест принят», но когда протестовал Дэниел, ответом было: «Протест отклонен». Да и можно ли ожидать честной игры от такого, как говорится, лукавого господина?

В конце концов это рассердило Дэниела, и он начал накаляться, как железо в горне. Когда ему дали слово, он готов был наброситься на гостя со всеми приемами, известными юристам,— и на судью с присяжными тоже. Ему уже было все равно, сочтут это неуважением к суду или нет и что станет с ним самим. Ему уже было все равно, что станет с Йависом Стоуном. И, думая о том, что он скажет, он свирепел все больше и больше. Но как ни странно, чем больше он думал, тем хуже выстраивалась в голове речь.

И вот наконец пришла пора ему встать, и он встал, готовясь разразиться всяческими громами и обличениями. Но прежде чем начать, он обвел взглядом присяжных и судью — такой у него был обычай. И он заметил, что блеск в их глазах сделался вдвое ярче и все они наклонились вперед. Как гончие, окружившие лисицу, глядели они на него, и синяя муть зла в комнате становилась все гуще и гуще. И он понял, что он собирался натворить, и отер лоб, как человек, чудом не оступившийся ночью в пропасть.

Ибо явились они за ним, не только за Йависом Стоуном. Он угадал это по блеску в их глазах и по тому, как гость прикрывал рот ладонью. И если он станет драться с ними их оружием, он окажется в их власти; он знал это, но откуда — он сам не мог бы сказать. Это его ужас и его гнев светятся в их глазах, и он должен погасить их, иначе пиши пропало. Он постоял минуту, и его черные глаза горели, как антрацит. Потом он заговорил.

Он начал тихим голосом, но каждое слово было слышно. Рассказывают, когда он хотел, он мог заставить ангелов подпевать себе. А тут начал спокойно и просто, так, что проще и нельзя. Нет, он не стал браниться и обличать. Он говорил о том, что делает страну страной и человека человеком.

И начал он с простых вещей, известных и близких каждому,— с того, как свежо ясное утро, когда ты молод, как вкусна еда, когда ты голоден, как нов тебе каждый новый день в детстве. Он взялся за них и поворачивал и так и эдак. А они милы каждому человеку. Только без свободы — горчат. И когда он заговорил о порабощенных, о горестях рабства, голос его загудел как колокол. Он говорил о ранней поре Америки и о людях, которые строили ее в ту пору. Он не разглагольствовал, как записной патриот, но все становилось понятно. Он признал все несправедливости, творившиеся в стране. Но показал, как из неправедного и праведного, из бед и лишений возникало что-то новое. И каждый внес свою долю, даже предатели.

Потом он перешел на Йависа Стоуна и изобразил его таким, каким он был на самом деле,— обыкновенным человеком, невезучим, которому хотелось избавиться от невезения. И за то, что он хотел этого, он должен теперь нести вечную кару. А ведь в нем есть и доброе, и Дэниел показал это доброе. Кое в чем Йавис Стоун черств и низок, но он человек. Быть человеком — печальная участь, но и достойная. И Дэниел показал, в чем это достоинство, так что им проникся бы каждый. Да, даже в аду человек

остается человеком, это очень понятно. Он уже защищал не одного какого-то человека, хотя его голос гудел как орган. То была повесть о неудачах и бесконечном странствии человеческого рода. Его надувают, сбивают с пути, заманивают в ловушки, но все равно это великое странствие. И ни одному демону на земле или под землей не понять его сути — для этого нужно быть человеком.

Огонь угасал в очаге, повеял предутренний ветер. В комнате уже серело, когда Дэниел Уэбстер закончил речь. Под конец он снова вернулся к Нью-Гэмпширу и к тому любимому и единственному клочку земли, который есть у каждого человека. Он рисовал его и каждому из присяжных говорил о вещах, давно забытых. Ибо слова его западали в душу — в этом была его сила и его дар. И для одного голос его звучал затаенно, как лес, а для другого — как море и морские бури; и один слышал в нем крик погибшего народа, а другой видел мирную сценку, которую не вспоминал годами. Но каждый увидел что-то свое. И когда Дэниел Уэбстер кончил, он не знал, спас он Йависа Стоуна или нет. Но он знал, что сделал чудо. Ибо блеск в глазах присяжных и судьи потух, и сейчас они снова были людьми и знали, что они — люди.

— Защита ничего не имеет добавить,— сказал Дэниел Уэбстер, возвышаясь как гора. Собственная речь еще гудела у него в ушах, и он ничего не слышал, пока судья Хаторн не произнес: «Присяжные приступают к обсуждению приговора».

Со своего места поднялся Уолтер Батлер, и на лице его была сумрачная веселая гордость.

— Присяжные обсудили приговор,— сказал он, глядя гостю прямо в глаза.— Мы выносим решение в пользу ответчика, Йависа Стоуна.

При этих словах улыбка сошла с лица гостя — но Уолтер Батлер не дрогнул.

— Быть может, оно и не находится в строгом согласии с доказательствами,— добавил он,— но даже навеки про-

клятые смеют отдать должное красноречию мистера Уэбстера.

Тут протяжный крик петуха расколол серое утреннее небо, и судья с присяжными исчезли бесследно, как дым, как будто их никогда и не было. Гость обернулся к Дэниелу с кривой усмешкой.

— Майор Батлер всегда был смелым человеком, но такой смелости я от него не ожидал. Тем не менее, как джентльмен джентльмена,— поздравляю.

— Прежде всего позвольте-ка забрать эту бумажку,— сказал Дэниел Уэбстер и, взяв ее, разорвал крест-накрест. На ощупь она оказалась удивительно теплой.— А теперь,— продолжал он,— я заберу вас! — И его рука, как медвежий капкан, защемила руку гостя. Ибо он знал, что, если одолеешь в честной борьбе такого, как господин Облом, он уже не имеет над тобой власти. И он видел, что господин Облом сам это знает.

Гость извивался и дергался, но вырваться не мог.

— Полно, полно, мистер Уэбстер,— проговорил он с бледной улыбкой.— Это же, наконец, сме... ой!.. смешно. Разумеется, вас волнуют судебные издержки, и я с радостью заплачу...

— Еще бы не заплатишь! — сказал Дэниел Уэбстер и так встряхнул его, что у него застучали зубы.— Сейчас ты сядешь за стол и напишешь обязательство никогда больше — до самого Судного дня! — не докучать Йавису Стоуну, его наследникам, правопреемникам, а также всем остальным ньюгэмпширцам. Потому что если мы возымеем охоту побесноваться в этом штате, то как-нибудь обойдемся без посторонней помощи.

— Ой! — сказал незнакомец.— Ой! Ну, по части хмельного, положим, они никогда не отличались, но — ой! — я согласен.

Он сел за стол и стал писать обязательство. Но Дэниел Уэбстер все-таки придерживал его за шиворот.

— А теперь мне можно идти? — робко спросил гость,

когда Дэниел удостоверился, что документ составлен по всей форме.

— Идти? — переспросил Дэниел, встряхнув его еще разок.— Я пока не решил, как с тобой поступить. За судебные издержки ты рассчитался, но со мной еще нет. Пожалуй, заберу тебя на Топкий луг,— сказал он как бы задумчиво.— Есть у меня там баран Голиаф, который прошибает железную дверь. Охота мне пустить тебя к нему на поле и поглядеть, что он станет делать.

Тут гость начал умолять и клянчить. Он умолял и клянчил так униженно, что Дэниел, по природе человек добродушный, в конце концов решил его отпустить. Гость был ужасно благодарен за это и перед уходом предложил — просто из дружеского расположения — погадать Дэниелу. И Дэниел согласился, хотя вообще не очень уважал гадалок. Но этот, понятно, был птица немного другого полета.

И вот стал он разглядывать линии на руках Дэниела. И рассказал ему кое-что из его жизни, весьма примечательное. Но все — из прошлого.

— Да, все правильно, так и было,— сказал Дэниел Уэбстер.— Но чего мне ждать в будущем?

Гость ухмыльнулся довольно-таки радостно и покачал головой.

— Будущее не такое, как вы думаете,— сказал он.— Мрачное. У вас большие планы, мистер Уэбстер.

— Да, большие,— твердо ответил Дэниел, потому что все знали, как ему хочется стать президентом.

— До цели, кажется, рукой подать,— говорит гость,— но вы ее не добьетесь. Люди помельче будут президентами, а вас обойдут.

— Пусть обойдут — я все равно буду Дэниелом Уэбстером,— сказал Дэниел.— Дальше.

— У вас два могучих сына,— говорит гость, качая головой.— Вы желаете основать род. Но оба погибнут на войне, не успев прославиться.

— Живые или мертвые — они все равно мои сыновья,— молвил Дэниел.— Дальше.

— Вы произносили великие речи,— говорит гость.— И будете произносить еще.

— Ага,— сказал Дэниел.

— Но ваша последняя великая речь восстановит против вас многих соратников. Вас будут звать Ихаводом; и еще по-всякому. Даже в Новой Англии будут говорить, что вы перевертень и продали родину,— и голоса эти будут громко слышны до самой вашей смерти.

— Была бы речь честная, а что люди скажут — не важно,— отвечал Дэниел Уэбстер. Потом он посмотрел на незнакомца, и их взгляды встретились.— Один вопрос,— сказал он.— Я бился за Союз всю жизнь. Увижу я победу над теми, кто хочет растащить его на части?

— При жизни — нет,— угрюмо сказал гость,— но победа будет за вами. И после вашей смерти тысячи будут сражаться за ваше дело — благодаря вашим речам.

— Ну, коли так, долговязый, плоскобрюхий, узкорылый ворожей-залогоимец,— закричал Дэниел Уэбстер с громовым смехом,— убирайся восвояси, пока я тебя не отметил! Потому что, клянусь тринадцатью первоколониями, я в саму преисподнюю сойду, чтобы спасти Союз!

И с этими словами он нацелился дать гостю такого пинка, что лошадь бы на ногах не устояла. Он только носком башмака достал гостя, но тот так и вылетел в дверь со шкатулкой под мышкой.

— А теперь,— сказал Дэниел Уэбстер, видя, что Йавис Стоун понемногу приходит в себя,— посмотрим, что осталось в кувшине; всю ночь толковать — у любого глотка пересохнет. Надеюсь, сосед Стоун, у вас найдется кусок пирога на завтрак?

Но и сегодня, говорят, когда дьяволу случается проезжать мимо Топкого луга, он дает большого крюку. А в штате Нью-Гэмпшир его не видели с той поры и поныне. Про Вермонт и Массачусетс не скажу.

Счастье О'Халлоранов

Крепкие ребята строили Великую Магистраль в начале американской истории. А работали на той стройке ирландцы.

Дед мой, Тим О'Халлоран, был в те поры молодым. Весь день вкалывает, всю ночь пляшет, была бы музыка. Женщины по нем сохли — у него на них был глаз и язык без костей. А надо кому по шее накостылять, он опять же пожалуйста — уложит с первого удара.

Я-то его знал много позже, он был тощий и седой как лунь. А когда вели на запад Великую Магистраль, тощих и седых там не требовалось. Расчищали кустарник на равнинах и рыли туннели в горах молодцы с железными кулаками. Тысячами прибывали они на стройку из всех уголков Ирландии — кто теперь знает их имена? Но, удобно расположившись в пульмановских вагонах, вы проезжаете по их могилам. Тим О'Халлоран был одним из тех молодцов: шести футов росту и скинет рубаху — грудь что Кошелская скала в графстве Типперэри.

А иначе как же? Ведь работка была не из легких. В то время начинался большой бум в железнодорожном строительстве, и по всей Америке, с востока на запад и с юга на север, спешили тянуть рельсы, словно черт за ними гнался. Для этого нужны были работяги с кайлом и лопатой, и эмигрантские суда из Ирландии приплывали битком набитые храбрыми парнями. Дома они оставляли голод и английское владычество, и многие считали, что уж в свободных-то Американских Штатах их ждет зо-

лото — бери не хочу, хоть мало кто и в глаза его видывал, это золото. Не чаяли они и не гадали, что здесь им достанется рыть канавы по шейку в воде и загорать дочерна под палящим солнцем прерий. И что матери их и сестры пойдут в прислуги, хоть на родине ни у кого в услужении сроду не бывали. Пришлось привыкать. Да, сколько смертей и обманутых надежд идет на возведение новой страны! Но которые помужественнее и побойчее, те выдюжили и не пали духом и за словом в карман лезть не обучились.

Тим О'Халлоран приехал из Клонмелла. В семье он считался за дурачка и простофилю, потому как вечно развешивал уши. Брат его Игнейшес пошел в священники, другой брат, Джеймс, подался в моряки, но такие дела, все понимали, были не про него. А так-то он был парень славный и покладистый, и притом любитель приврать: нагородит с три короба и не поперхнется! У О'Халлоранов в роду всегда такие были. Но настали голодные времена, малые дети плакали и просили хлеба, и в родимом гнезде стало тесно. Не то чтобы Тима так уж тянуло в эмиграцию, хотя вообще-то пожалуй что и тянуло. С младшими сыновьями это бывает. А тут еще Китти Мэлоун.

Клонмелл — тихое местечко, и для Тима только и было свету в окошке что Китти. Но вот Мэлоуны взяли да и уехали в Американские Штаты, и стало известно, что Китти получила там место, какого не найдешь и в Дублинском замке. Правда, она работает горничной, но разве она зато не ест на золоте, как все американцы? И чай помешивает разве не золотой ложечкой? Тим О'Халлоран думал об этом, думал, прикидывал, какие там возможности открываются перед храбрыми парнями, да в один прекрасный день и сел на корабль. На корабле было много клонмеллского народу, но Тим держался особняком и строил собственные воздушные замки.

Каково же было его разочарование, когда он высадился в Бостоне и нашел Китти, а она, оказывается, с ведром и тряпкой в руках моет лестницы в большом американском доме. Но все это на поверку оказались пустяки, потому что щечки у Китти рдели по-прежнему и глядела она на него так же, как раньше. Правда, здесь у нее имелся ухажер, оранжист* верноподданный, кондуктором на конке работал. Это Тиму не понравилось. Но, повидавшись с Китти, он почувствовал, что одолеет любого великана, и когда объявили, что нужны крепкие мужчины для работы на далеком Западе, он записался из первых. Перед разлукой они разломали надвое шестипенсовик — английский шестипенсовик, но они на это не посмотрели,— и Тим О'Халлоран уехал за богатством, а Китти Мэлоун обещалась его ждать, хотя ее родители и стояли горой за оранжиста.

Что там говорить, работа на строительстве, само собой, оказалась отчаянно тяжелая. Но Тим О'Халлоран был молод, и ему в радость были сила и буйство — он пил с пьяницами и дрался с буянами, благо силы не занимать. Все это была его жизнь — и голые стальные рельсы, уходящие все дальше по пустынной прерии, и частое покашливание дровяных паровозов, и холодный слепой взгляд убитого, устремленный к звездам пустыни. И еще там была холера и малярия — крепкий парень рядом с тобой на насыпи вдруг выпускал лопату и хватался за живот, и лицо его искажалось страхом смерти.

Назавтра он уже не выходил на работу, и его имя вычеркивалось из ведомости. Всего навидался Тим О'Халлоран.

Навидался, и на этом возмужал и закалился духом. Но все равно по временам на него накатывало черное уныние, так уж бывает у ирландцев. И тогда он вдруг начинал чувствовать, что живет один-одинешенек в чужом

* Оранжисты — протестанты — сторонники сохранения британского владычества в Северной Ирландии. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

краю. В такую минуту человеку приходится ох как нелегко, а он был молод. И кажется, отдал бы все золото обеих Америк, только бы раз дохнуть клонмеллским воздухом и бросить взгляд на клонмеллские небеса. Тогда он шел и напивался, или плясал, или затевал драку, или крыл черным словом десятника, чтобы только как-то унять боль в душе. Работалось потом из-за этого не легче, и из жалованья производились вычеты, но было это сильнее Тима, и даже мысли о Китти Мэлоун не могли его обуздать.

И вот раз ночью возвращался он оттуда, где продавали у них самогонку, и может, он принял ее малость сверх меры, хотя пил он не ради пьянства, а чтобы отогнать чудные мысли. Но чем больше пил, тем его мысли становились чуднее. Думал он про счастье О'Халлоранов и вспоминал разные байки, что слышал когда-то на старой родине от деда,— про эльфов, фей и гномов с длинной белоснежной бородой.

— Надо же, человек посреди американских прерий землю лопатит, а ему вон какая дичь лезет в голову,— сказал сам себе Тим.— На старой родине эти существа, может, и водятся, и живут, в ус не дуют, разве кто спорит, но здесь они бы никогда не прижились. От одного взгляда на эти западные края у них бы со страху родимчик сделался. А что до счастья О'Халлоранов, то много ли я его видал? Вот не могу даже до десятника дослужиться и обвенчаться с Китти Мэлоун. В Клонмелле я слыл из нашей семьи самым глупым, и, ей-же-ей, по заслугам. Тим О'Халлоран, ты ничтожный человек, даром что у тебя крепкая спина да сильные руки.— Вот с какими черными, горькими мыслями шагал Тим О'Халлоран по прерии. И вдруг слышит, кто-то кричит на луговине. Странным таким голоском кричит, тоненьким и не вполне человеческим. Но Тим бросился бегом на этот крик, потому что, правду сказать, у него руки чесались подраться.

— Не иначе как это юная красавица, которую я спасу от злых разбойников,— думал он на бегу.— И тогда ее богач отец сам предложит мне ее в жены... э-э, постой-ка, я ведь не на ней хочу жениться, а на Китти Мэлоун! Ну пусть, тогда он из дружбы и признательности откроет для меня торговое дело, а я пошлю за Китти и...

Но он запыхался и, добежав до места, где кричали, увидел, что все совсем не так. Два волчонка резвились и играли с чем-то махоньким, как кошка с мышью. Где волчата, там и взрослые волки поблизости. Но Тим О'Халлоран расхрабрился что твой лев.

— А ну кыш отсюда! — крикнул он на волчат и швырнул в них палкой и камнем. Волчата бросились наутек и завыли во мраке, тоскливо так, заунывно. Но Тим знал, что до лагеря уже рукой подать, и не испугался. Он стал искать в траве, что они такое гоняли. Но оно порскнуло из-под ног, он даже не успел разглядеть, что это было. Потом заметил что-то в траве, поднял... и глазам своим не поверил: на ладони у него лежал башмачок, маленький, совсем как детский. И что интересно, таких башмачков в Америке не шили. Тим О'Халлоран вертел его и так и эдак, разглядывал блестящую серебряную пряжку и только диву давался.

— Попадись мне такой на старой родине,— вполголоса рассуждал он сам с собой,— я бы не сомневался, что это обувка гнома и, значит, надо искать горшок с золотом. Но здесь ничего такого быть не может...

— Позволь-ка мой башмак,— произнес тоненький голосок у его ноги.

Тим О'Халлоран выпучил глаза и огляделся вокруг.

— Клянусь трубачами пророка Моисея! Неужто я совсем одурел спьяну? Или умом помешался? Ей-богу, мне почудилось, будто со мной кто-то заговорил.

— Не почудилось, а так оно и было,— проговорил тот же голос, но уже с раздражением.— И попрошу у тебя мой башмак, потому что росная трава холодна...

— Душа моя,— сказал Тим О'Халлоран, начиная верить своим ушам,— покажись мне, сделай милость.

— Пожалуйста, я не против, — отозвался голос, травы раздвинулись, и вперед выступил маленький старичок с длинной белой бородой. Был он росточком с мальчика лет десяти, так определил О'Халлоран при ясном свете луны над прерией, и к тому же одет по-старинному, а за поясом на боку у него был заткнут сапожный инструмент.

— И вправду гном, клянусь моей верой! — воскликнул О'Халлоран и хотел было его схватить. Ведь надобно вам сказать, если вы не получили правильного воспитания, что гном — это маленький сказочный сапожник и каждому гному известно место, где зарыт горшок с золотом. Так, по крайней мере, считается на старой родине. Гнома сразу можно узнать по длинной белой бороде и по сапожному инструменту, и кто его схватит, тому он обязан открыть, где спрятано золото.

Но старичок, точно кузнечик, ловко увернулся из-под его руки.

— Так-то в Клонмелле понимают вежливое обхождение? — возмутился он, и Тиму О'Халлорану стало стыдно.

— Право, я вовсе не хотел причинить обиду вашей милости,— пробормотал он.— Но ежели вы и вправду тот, кем кажетесь, у меня к вам небольшое дельце насчет горшка с золотом...

— Горшок золота! — проговорил гном надменно и уныло.— Да будь оно у меня, разве я находился бы сейчас здесь? Все ушло на плату за проезд через море, сам понимаешь.

— М-да.— Тим О'Халлоран поскреб в затылке, не зная, верить гному или не верить.— Оно, может, и так, но...

— Ну вот! — жалобно, с обидой в голосе проговорил гном.— Исключительно из любви к клонмеллскому люду забираешься в эту голую пустыню, и первый же встречный клонмеллец относится к тебе с недоверием. Добро

бы ольстерский, от них всего можно ждать. Но О'Халлораны всегда были настоящими патриотами.

— Были и есть,— отвечал Тим О'Халлоран.— И никто не скажет, что О'Халлоран отказал в помощи бедствующему. Я тебя не трону.

— Клянешься?

— Клянусь,— сказал Тим О'Халлоран.

— Тогда я залезу к тебе под куртку,— попросился гном,— а то холод и росы прерий меня погубят. Ох, горькое это дело — эмиграция,— он испустил тяжкий вздох.— Чего только про нее не врут.

Тим О'Халлоран скинул куртку и завернул в нее гнома. Теперь он смог поближе его рассмотреть: вид у гнома был, бесспорно, самый что ни на есть жалкий. Мордочка такая чудная, детская, и длинная белая борода, а одежка вся рваная, выношенная, и щеки ввалились от голода.

— Гляди веселей.— Тим О'Халлоран похлопал его по спине.— Ирландцы так легко не скисают. Только ты мне все же расскажи, как это тебя сюда занесло. А то я никак в толк не возьму.

— Мог ли я отстать, когда пол-Клонмелла пустилось в плаванье? — отвечал отважный гном.— Клянусь костями Финна, ты меня не за того принимаешь.

— Отлично сказано,— похвалил Тим О'Халлоран.— Просто я до сих пор не слышал, чтобы Добрый Народец уезжал в эмиграцию.

— Еще бы,— вздохнул гном.— Здешний климат, что правда, то правда, мало кому из нас подходит. Приплыли сюда два-три домовых с англичанами, да пуританские пасторы так на них ополчились, что пришлось им, бедным, попрятаться в леса. И еще я по пути сюда виделся на берегу озера Верхнего с одной феей — вещуньей беды, была когда-то влиятельная дама, но теперь утратила прежнее положение в обществе, это сразу видно. Здесь и самые малые дети в нее не верят, она испускает ду-

шераздирающие вопли, а они говорят, пароход гудит. Не знаю даже, жива ли она, очень уж была плоха, когда мы расстались. А здешние духи — они, что ни говори, народ не очень располагающий, я был у одних тут пленником целую неделю, обращались со мной прилично, ничего не скажу, но эти пляски, топот, гиканье не отвечают моему мирному нраву. И длинные наточенные ножи у них за поясом тоже не в моем вкусе. Да-а, я пережил немало приключений, пока сюда добрался,— заключил гном.— Но теперь, хвала судьбе, все это позади, ибо я нашел покровителя.

И он поудобнее устроился у О'Халлорана под курткой.

— Гм,— произнес О'Халлоран, малость опешив.— Вот уж не думал, что так все обернется, когда мне подвернулось счастье О'Халлоранов, о котором я так давно мечтал. Сперва я спас тебя от волков, а теперь, выходит, должен стать твоим покровителем. Но ведь в сказках-то вроде все наоборот?

— А общество и разговоры такого многоопытного и древнего существа, как я, по-твоему, ничего не стоят? — возмутился гном.— Ведь я когда-то в Клонмелле был хозяином целого замка и видел еще О'Шийна в расцвете славы! Но потом явился святой Патрик и в два счета положил всему конец. Одних из нас, древних насельников Ирландии, он крестил, других заковал в цепи вместе с демонами в аду. Но я был Брайен Лежебока, ни то и ни се, и дорожил только покоем и удобством. Вот он и превратил меня в такого, как ты видишь теперь,— меня, которого каждое утро будили шесть рослых арфистов,— и наложил на меня заклятье, раз я был ни то и ни се. Я обречен служить людям Клонмелла и повсюду, куда они ни подадутся, следовать за ними, покуда мне не доведется услужить слуге слуги на краю света. Ну а тогда, может быть, я получу христианскую душу и смогу следовать своим наклонностям.

— Услужить слуге слуги? — переспросил О'Халлоран.—

Такую загадку нелегко разгадать.

— Вот именно. В Клонмелле я сколько ни искал, слугу слуги не встретил ни разу. Кто знает, что было у святого Патрика на уме? Поди пойми.

— Ежели ты вздумал критиковать святого, то я тебя брошу тут в прерии,— пригрозился Тим О'Халлоран.

— Да я не критикую,— со вздохом сказал гном.— Просто жаль, что он так поторопился с этим заклятием. И не выразился немного точнее. А куда мы теперь?

— Ну что ж,— О'Халлоран тоже вздохнул.— Не думал я взваливать на свои плечи такую ответственность. Но раз ты попросил у меня помощи, ты ее получишь. Вот только должен тебя предупредить, что денег у меня в кармане маловато.

— Да разве мне деньги твои нужны? — радостно отозвался гном.— Я буду держаться при тебе неотступнее родного брата.

— Верю,— усмехнулся О'Халлоран.— Ну да ладно. Одеждой и едой я тебя обеспечу, но ежели ты хочешь держаться при мне, выходит тебе тоже работать. Лучше всего, пожалуй, тебе быть моим малолетним племянником Рори, который удрал из дома на строительство железной дороги.

— Как же я могу быть твоим малолетним племянником с такой длинной белой бородой?

— Ну, на этот счет,— ухмыльнулся Тим О'Халлоран,— у меня как раз при себе бритва.

Вы бы послушали, что тут поднялось. Гном топал ногами, бранился, умолял — все напрасно. Хочешь пойти с Тимом О'Халлораном, значит, делай, что Тим скажет, и вся недолга. В конце концов при свете луны О'Халлоран обрил негодующего гнома, а когда они пришли в строительный лагерь, обрядил его в кое-какие свои обноски, и получился не то чтобы настоящий мальчишка, но все-таки больше похоже на мальчишку, чем на когонибудь другого. Утром Тим привел его к десятнику и за-

писал в водоносы. И такой при этом лапши навешал тому на уши, заслушаешься. Слава богу, что у него был язык без костей, а то десятник поначалу, взглянув на малолетнего Рори, прямо вздрогнул, будто нечисть увидел.

— Ну, что дальше? — спросил гном, когда переговоры с десятником завершились.

— Как что? Дальше будешь работать,— расхохотался Тим.— А по воскресеньям стирать с себя рубаху.

— Удружил, спасибо,— проворчал гном, сверкнув глазом.— За этим я, что ли, ехал сюда из Клонмелла?

— Э, брат, мы все ехали сюда за богатством,— сказал ему Тим.— Да только поди найди его. Но может, тебя больше прельщают волки?

— Ну уж нет,— ответил гном.

— А нет, так давай вкалывай.

И Тим О'Халлоран взвалил на плечо лопату и зашагал, а гном потащился следом.

В конце рабочего дня гном пришел к нему и сказал:

— Я в жизни своей никогда не работал. И теперь каждая косточка в моем теле болит и ноет.

— После ужина полегчает,— утешил его О'Халлоран.— А ночь создана для сна.

— Но где я буду спать? — спросил гном.

— Вместе со мной, с краю под одеялом,— ответил Тим.— Разве ты не мой малолетний племянник Рори?

Не сказать, чтобы такое положение его особо прельщало, да куда деваться? Сочинил сказку, по сказке и живи.

Но это все были только цветики, как вскоре убедился Тим О'Халлоран. Он многое в жизни успел испытать, но чего он до сей поры не отведал, так это ответственности, и теперь ответственность была ему как удила коню. Поначалу-то еще, покуда гном недужил, куда ни шло. Но когда он отъелся и окреп за работой, тут уж непонятно, как Тим О'Халлоран не поседел в одночасье. Гном-то вообще был ничего, неплохой, но озорства

в нем, как во всяком мальчишке двенадцати лет, хватало с лихвой, да плюс еще многовековая мудрость и древнее искусство.

Бывало всякое. У Макгинниса он стащил три трубки и фунт табаку, десятнику подбросил в чай дохлую лягушку, а однажды раздобыл бутылку самогонки, и пришлось Тиму совать его головой в ведро с холодной водой, чтобы протрезвел. Хорошо еще, что святой Патрик не оставил ему большой силы, но и с той, что была, он умудрился навести на Шона Келли ревматическую лихорадку и двое суток не снимал чар, покуда Тим не пригрозил, что запретит ему пользоваться своей бритвой.

Только этим и можно было его унять, потому что гном вошел во вкус и дорожил своим положением юного Рори.

Так оно все и шло. У Тима О'Халлорана стали расти сбережения: теперь, когда затевалась попойка, он уже не принимал в ней участия, ведь с малолетним Рори надо было постоянно держать ухо востро. И так же, как с выпивкой, получалось и со всем прочим. В конце концов к Тиму стали относиться как к человеку основательному. А потом просыпается он в одно прекрасное утро ранехонько и видит: гном, свежевыбритый, сидит нога за ногу и посмеивается.

— Интересно, что это тебя развеселило ни свет ни заря? — спрашивает Тим спросонья.

— Да так,— отвечает гном.— Я думаю, до чего же нам трудно будет копать, когда пройдем еще десять миль трассы.

— С чего же это вдруг нам станет труднее, чем здесь?

— Да с того, что эти глупцы геодезисты проложили трассу там, где скрыты подземные ключи. Начни только рыть, и бед не оберешься.

— Ты это точно знаешь?

— Неужели нет,— ответил гном,— если я умею слы-

шать, как течет вода под землей.

— Что же делать? — спросил Тим.

— Надо взять на полмили западнее, там будет твердый грунт,— ответил гном.

Тим О'Халлоран ничего ему на это больше не сказал. Но в полуденный перерыв поговорил с младшим инженером, который руководил строительством. Раньше-то его никто не стал бы слушать, но теперь было известно, что он человек основательный. Конечно, откуда у него такие сведения, он не открыл — соврал, будто видел похожий участок в Клонмелле.

Ну, а младший инженер выслушал его, распорядился произвести проверку — и действительно, там оказался подземный источник.

— Молодцом, О'Халлоран,— сказал ему младший инженер.— Вы сэкономили нам время и деньги. Не хотите ли теперь стать десятником?

— Со всем моим удовольствием,— ответил Тим.

— С сегодняшнего дня и впредь под вашим началом — пятая бригада,— сказал инженер.— Я теперь буду к вам присматриваться. Мне нравится, когда человек соображает.

— А можно мне взять с собой племянника? — спросил Тим.— Понимаете, я за него в ответе.

— Можно,— согласился инженер, у него у самого были дети.

И вот Тим получил повышение по службе, и гном вместе с ним. В первый же день на новом месте малолетний Рори стащил у инженера из кармана золотые часы, очень уж ему понравилось, как они тикают. Пришлось Тиму пригрозить ему огнем и мечом, чтобы положил часы на место.

Так пожили они еще некоторое время, а потом Тим опять проснулся ранехонько в одно прекрасное утро и слышит, гном смеется.

— Чему это ты смеешься? — спросил он.

— Да вот, чем больше я смотрю на человеческую

работу, тем меньше вижу в ней толку,— отвечает гном.— Который уж день наблюдаю я за подачей рельсов. Это проделывают вот так и вот эдак. А ведь если бы делали вот эдак и вот так, времени ушло бы половина и трудов вдвое меньше.

— Верно говоришь? — переспросил Тим О'Халлоран и заставил гнома все себе подробно объяснить. А потом, позавтракав впопыхах, бросился к своему другу инженеру.

— Умная мысль, О'Халлоран,— похвалил его инженер.— Надо испытать на деле.

А неделю спустя у Тима О'Халлорана было уже под началом сто человек и до того ответственная должность, что в жизни на него не возлагали такой ответственности. Но все-таки не то, что отвечать за гнома. Инженер стал давать ему специальные книги, и он изучал их по ночам, покуда гном знай себе похрапывал, завернутый в его одеяло.

В те времена поднимались по службе быстро, для Тима О'Халлорана это было только начало, он потом пошел куда как далеко. Но тогда он ни о чем таком и не думал, а страдал из-за Китти Мэлоун. Поначалу, когда он уехал на Запад, она прислала ему письмецо-другое, но потом письма от нее прекратились, и в конце концов ее родители написали ему, чтобы он больше не беспокоил их Китти, зачем ей письма от простого рабочего. Горько же было Тиму О'Халлорану. Ночью, когда не спал, он думал про Китти и оранжиста и стонал в голос. И вот однажды утром, проснувшись после такой ночи, он услышал, что гном опять смеется.

— А на этот раз чему ты смеешься? — спросил он хмуро.— У меня так от боли впору сердцу разорваться.

— Мне смешно, что из-за какого-то письма человек не едет к своей невесте, когда жалованье в кармане и контракт истекает первого числа,— ответил гном.

Тим О'Халлоран стукнул кулаком по своей ладони.

— Провалиться мне, если ты не прав, чудно́е ты соз-

данье! Итак, кончаем работу — и в Бостон.

На Запад Тим О'Халлоран отправился простым рабочим, теперь он возвращался мастером-железнодорожником, в купе, джентльмен джентльменом — ему выдали бесплатный служебный билет и обещали место на железной дороге с подходящим для женатого человека жалованьем. Правда, с гномом он в поезде все-таки натерпелся горя, особенно один раз, когда тот укусил толстую даму, обозвавшую его прелестным ребенком. Но Тим не спускал с него глаз и всю дорогу покупал ему земляные орешки, так что удавалось в общем-то держать его в узде.

Приехав в Бостон, они оба оделись с ног до головы во все новенькое, а потом Тим О'Халлоран дал гному немного денег, чтобы тот пошел куда-нибудь часок-другой поразвлечься, а сам отправился к Китти Мэлоун.

Входит он как ни в чем не бывало в квартиру Мэлоунов и как раз застает там с Китти верноподданного оранжиста. Тот норовит ей ручку пожать, а она вырывает, и при виде этого закипела у Тима кровь. А Китти заметила его и громко вскрикнула:

— Ой, Тим! А говорили, ты умер на равнинах Запада.

— И очень жаль, что не умер,— фыркает оранжист, выпятив грудь, а у него на груди — медные пуговицы в два ряда.— Но фальшивый грош всегда возвращается обратно.

— Ах, я, значит, фальшивый грош, сукин ты сын, шитый медными пуговицами? — говорит Тим О'Халлоран.— У меня к тебе один только вопрос: будешь драться или сразу уберешься вон?

— Буду драться, как мы дрались на берегу Бойна*,— отвечает оранжист с наглой ухмылкой.— Кто кому показал тогда спину, а?

— Ах, такой, значит, разговор? — Тим ему на это.— Ну

* Битва при Бойне между войсками католического короля Иакова II Стюарта и протестантского короля Вильгельма III Оранского произошла в 1690 году.

так и я тебе отвечу: припомним девяносто восьмой год!*

С этими словами он достал оранжиста кулаком и уложил с первого удара, к великому ужасу старших Мэлоунов. Мамаша давай вопить, а Пат Мэлоун поминать полицию. Но Тим О'Халлоран сразу утихомирил обоих:

— Вы что же, хотите отдать дочь за оранжиста — кондуктора конки, когда она может стать женой будущего начальника железной дороги?

И вытащил из кармана сбережения и письмо, где ему обещалось место с жалованьем, достаточным для женатого человека. Мэлоуны присмирели и, приглядевшись к Тиму О'Халлорану, сменили гнев на милость. А после того как оранжиста выставили вон — своей-то волей он не ушел, да все равно пришлось ему убраться, как побежденному,— Тим О'Халлоран рассказал все свои приключения.

А рассказывать он был мастак, хоть о гноме не обмолвился ни словом, решил, что с этим лучше повременить. И вот уже Пат Мэлоун предложил ему сигару, а потом и говорит:

— Только у меня, я вижу, все кончились, я сейчас сбегаю в лавочку за углом.

А сам Тиму подмигивает.

— И я с тобой,— говорит мамаша.— Потому как, раз мистер О'Халлоран остается с нами ужинать — и милости просим,— надо кое-чего подкупить.

Ну, старики и ушли, и остался Тим О'Халлоран наедине со своей Китти. Стали они мечтать и строить планы на будущее, и вдруг — стук в дверь.

— Кто бы это? — удивилась Китти.

Но Тим-то сразу догадался, и душа у него ушла в пятки. Открывает — так и есть, гном.

* Намек на ирландское восстание против британского владычества 1798 года.

— Здравствуйте,— ухмыляется,— дядя Тим. А вот и я.

Тим О'Халлоран смотрит на него, будто в первый раз видит. Одет-то он был во все новенькое, но лицо в саже и на белой рубашке отпечатки грязных пальцев. Однако не в том было дело, что он чумазый. А в том, что как его ни обряди, все равно без привычки сразу видно, что это нечисть, а не добрый христианин.

— Китти,— проговорил Тим,— Китти, моя ненаглядная. Забыл тебе сказать: это мой малолетний племянник Рори, он у меня живет.

Ну, Китти приняла малолетка ласково и радушно, хоть и поглядывала на него искоса, как заметил Тим. Она угостила его куском пирога, а гном искрошил пирог пальцами и прямо пятерней стал набивать рот. А потом, не прожевав, кивнул Китти и спрашивает:

— Ну как, решила выйти за моего дядю Тима? И правильно, выгодного подцепила жениха.

— Попридержи язык, юный Рори,— рассердился Тим О'Халлоран, а Китти зарделась как маков цвет. Но потом заступилась за него и сказала так:

— Не ругай парнишку, Тим О'Халлоран. Пусть говорит, что думает. Да, Рори-малыш, я скоро стану твоей теткой и буду этим гордиться.

— Ну и отлично,— гном набил в рот остатки пирога,— я думаю, ты сумеешь вести наш дом как надо, когда привыкнешь и усвоишь, что мне требуется.

— Значит, так все и будет, Тим? — спросила Китти Мэлоун тихим голосом, но Тим О'Халлоран посмотрел ей в глаза и понял, о чем она думает. Его очень подмывало отречься от гнома и прогнать его на все четыре стороны. Но он прикинул и понял, что не способен на такой поступок, даже ради Китти Мэлоун.

— Да, боюсь, что именно так, Китти,— удрученно сказал он.

— Горжусь тобой за это,— сказала Китти, и глаза ее засияли. Она подошла к гному, взяла его шершавую

ладошку.— Живи с нами, юный Рори,— пригласила она его.— Мы будем рады тебе от души.

— Сердечно вам благодарен, Китти Мэлоун, в будущем О'Халлоран,— проговорил гном.— А ты счастливец, Тим О'Халлоран, ты счастлив и сам по себе, и в своей невесте. Если бы ты от меня отрекся, твое счастье от тебя бы отвернулось, а если бы она меня не приняла, было бы вам по полсчастья на двоих. Но теперь счастье пребудет с вами до конца ваших дней. А я хочу еще кусок пирога.

— Чудной ты парень,— сказала Китти Мэлоун и пошла в кладовку за пирогом.

Гном сидел, болтал ногами и поглядывал на Тима О'Халлорана.

— Ох, как мне хочется задать тебе трепку,— простонал тот.

— Фи,— ухмыльнулся гном.— Неужто ты поднимешь руку на родного племянника? Но ответь мне на один вопрос, Тим О'Халлоран: твоя нареченная состояла у кого-нибудь в услужении?

— А если бы и так,— вспыхнул Тим О'Халлоран.— Кто скажет, что она себя этим уронила?

— Только не я,— заверил его гном,— ибо я, приехав в эту страну, узнал, что такое человеческий труд. Это дело достойное. Но ответь мне еще на один вопрос. Ты намерен чтить свою жену и служить ей во все годы вашей супружеской жизни?

— Да, намерен. Хотя какое тебе до этого...

— Неважно,— перебил его гном.— У тебя шнурок на башмаке развязался, храбрый человек. Вели мне завязать.

— А ну завяжи мне шнурок, зловредное созданье! — рявкнул Тим О'Халлоран. Гном так и сделал. А потом вскочил на ноги и запрыгал по комнате.

— Свободен! Свободен! — верещал он.— Наконец-то свободен! Я услужил слуге слуги, и древнее заклятие больше не имеет надо мной силы. Я свободен, Тим О'Халлоран! Счастье О'Халлоранов теперь на свободе!

Тим О'Халлоран таращился на него, онемев от изумления. Потому что прямо у него на глазах с гномом стали происходить перемены. Он, правда, остался маленьким наподобие мальчонки, но это уже была не прежняя нечисть, видно было по глазам, как в него вселилась христианская душа. Прямо оторопь брала смотреть. Но это было замечательно!

— Ну что ж,— проговорил Тим О'Халлоран, совладав с волнением.— Рад за тебя, Рори. Ведь теперь ты, конечно, вернешься в Клонмелл, ты честно заработал это право.

Гном покачал головой.

— Клонмелл — славное, тихое местечко,— сказал он.— А здесь жизнь поразмашистей. Наверно, что-то такое в воздухе — ты небось не заметил, а ведь я с тех пор, как мы повстречались, вырос на добрых полтора дюйма и чувствую, что расту еще. Нет, я хочу употребить мои природные таланты и отправлюсь на Запад, где роют шахты, там, говорят, есть такие глубокие, весь Дублинский замок с головкой уйдет, и у меня руки чешутся приступить к делу! Но кстати сказать, Тим О'Халлоран, я тогда немного слукавил насчет горшка с золотом. Ты найдешь свою долю за дверью, когда я уйду. А теперь — всего вам доброго и долгих лет жизни.

— Но ты ведь не навсегда прощаешься с нами, дружище? — воскликнул Тим О'Халлоран. Он только теперь понял, как привязался к этому забавному малышу.

— Нет, не навсегда,— ответил тот.— На крестинах вашего первенца сына я буду стоять у его колыбели, хотя вы меня, возможно, и не увидите, и так будет и с сыновьями ваших сыновей, и с их сыновьями тоже, ибо счастье О'Халлоранов только начинается. А пока расстанемся. Ведь у меня теперь христианская душа, и у меня есть в жизни своя работа.

— Погоди минутку,— говорит ему Тим О'Халлоран.— Ты не во всем разбираешься, ты ведь человек новый.

Ты, конечно, имеешь в виду обратиться к священнику, но в экстренных случаях это может проделать и мирянин, а тут, бесспорно, случай экстренный. Не могу же я отпустить тебя вот так, некрещеного.

Он осенил гнома крестным знамением и нарек его — Рори Патрик.

— Правда, не все формальности соблюдены, зато побуждения самые добрые,— заключил Тим О'Халлоран.

— Благодарю тебя,— сказал гном.— Если был ты передо мною в долгу, то теперь отплатил с лихвой.

Тут он как-то вдруг взял и пропал, и Тим О'Халлоран остался в комнате один. Стоит и глаза трет. И видит за дверью мешочек, оставленный гномом,— а тут и Китти возвратилась с ломтем пирога на тарелке.

— Тим, а где же твой малолетний племянник? — спрашивает.

Обнял Тим О'Халлоран свою Китти и рассказал ей все как было. Все ли она приняла на веру, это вопрос другой. Но одно надо заметить: с тех пор в их семье непременно есть один Рори О'Халлоран, и он изо всех самый первый счастливчик. А когда Тим О'Халлоран сделался начальником дороги, как он назвал свой личный автомобиль? «Гном», вот как. И во время деловых поездок, рассказывали люди, при нем часто видели небольшого такого человечка, ростом с мальчишку. Вдруг объявится на каком-нибудь полустанке, и его сразу пускают к начальству, а большие тузы железнодорожного мира дожидаются в тамбуре. И вскоре из вагона доносилось пение.

Якоб и индейцы

История эта давних дней — да не обделит Господь всех, кто жил в то время, и потомство их.

Так вот, в те дни Америка, понимаете ли, была другой. Это была красивая страна, но если бы вы увидели ее сегодня, вы бы не поверили. Ни автобусов, ни поездов, ни штатов, ни президентов, ничего!

Ничего — только колонисты, да индейцы, да дикие леса по всей стране, да дикие звери в лесах. Вы представляете, какое место? Вы, дети, теперь об этом даже не задумываетесь; вы читаете об этом в учебниках — но что там напишут? А я заказываю разговор с моей дочерью в Калифорнии и через три минуты говорю: «Алло, Рози?» — и Рози мне отвечает и рассказывает о погоде, как будто мне интересно знать! Но так не всегда было. Я вспоминаю мою молодость — все было не так. А при дедушке моего дедушки опять-таки все было по-другому. Послушайте рассказ.

Дед моего деда был Якоб Штайн, и приехал он из Реттельсхайма, из Германии. В Филадельфию приехал — сирота, на парусном корабле, но человек не простой. Он был образованный человек — он учился в хедере*, он мог стать ученым из ученых. Но видите, как случается в нашем скверном мире? Чума, новый великий герцог — всегда что-нибудь не то. После он неохотно об этом рассказывал — зубы во рту они ему оставили, но

* Еврейская начальная религиозная школа.

рассказывал он неохотно. И зачем? Мы, дети диаспоры, когда приходит черный день, мы его узнаём.

И все-таки вообразите — молодой человек с красивыми мечтами и образованием, ученый юноша с бледным лицом и узкими плечами в те давние времена приезжает в такую новую страну. Ну, он должен работать, и он работает. Образование отличная вещь, но в рот его не положишь. Он должен носить за плечами мешок и ходить с ним от двери к двери. Это не позор; так начинали многие. Но он не толковал Закон и первое время очень скучал по дому. Ночами он сидел в комнате при одной свече и читал проповедника Коэлета*, покуда горечь проповедника не наполняла его рот. Лично я не сомневаюсь, что Коэлет великий проповедник, но имей он добрую жену, он был бы более веселым человеком. В те времена они держали слишком много жен — они запутывались. Но Якоб был молод.

Что касается новой страны, куда он приехал, то она представлялась ему землей изгнания, большой и пугающей. Он был рад тому, что сошел с корабля,— но на первых порах ничему больше. А когда он увидел на улице первого живого индейца — о, это было что-то невероятное! Но индеец, уже мирный, при помощи знаков купил у него ленту, и тогда ему стало легче. Тем не менее порой ему казалось, что лямки мешка врезаются в самую душу, и он тосковал по запаху хедера, по тихим улочкам Реттельсхайма, по копченой гусиной грудке, которую набожные хозяйки приберегают для ученого человека. Но к былому возврата нет, никогда нет возврата.

Тем не менее он был вежливый молодой человек и трудолюбивый. И вскоре ему улыбнулась удача — по крайней мере, так казалось вначале. Пустяки и безделушки в свой мешок он получал от Симона Эттельсона, и однажды он пришел к Симону Эттельсону, когда тот спорил с другом

* Екклесиаста.

об одной тонкости Закона, потому что Симон был набожный человек и уважаемый в общине Миквей Исроэл. Сперва дедушка нашего дедушки почтительно стоял возле них — он пришел пополнить запасы в мешке и Симон был его работодатель. Но потом сердце его не стерпело, потому что и тот и другой ошибались, и он заговорил и сказал им, в чем они не правы. Полчаса говорил он с мешком за плечами, и никогда еще текст не бывал истолкован так мудрено, даже великим реб Самуилом. И под конец Симон Эттельсон воздел руки и назвал его молодым Давидом и светильником учености. А кроме того, отвел ему более выгодный торговый маршрут. Но самое лучшее — он пригласил юношу Якоба к себе в дом, и там Якоб хорошо поел впервые с тех пор, как прибыл в Филадельфию. А кроме того, он впервые увидел Мириам Эттельсон — и она была младшая дочь Симона Эттельсона и лилия долины.

После этого дела у Якоба пошли на поправку, ибо покровительство сильного подобно скале и колодцу. И все же шли они не вполне так, как ему хотелось. Потому что на первых порах Симон Эттельсон привечал его, и для ученого юноши, хотя он разносчик, была и фаршированная рыба, и изюмное вино. Но в глазах у человека бывает такое выражение, которое говорит: «Хм? Зять?» — и его Якоб не замечал. Он был скромен, он не рассчитывал завоевать девушку в два счета, хотя мечтал о ней. Но постепенно для него прояснилось, что он такое в доме Эттельсона,— ученый юноша, которого показывают друзьям, но не тот, кто может прокормиться своей ученостью. Он не упрекал в этом Симона, но хотелось ему совсем другого. Он стал сомневаться, что вообще сумеет укрепиться в мире,— а это никакому человеку не полезно.

Тем не менее он пережил бы и это, и боль и мучения любви, если бы не Мейер Каппельгейст. Вот это был предприимчивый человек! Ни о ком не хочу сказать плохого, даже о вашей тете Коре — пусть она оставит

себе серебро Де Гроота, если сердце ей так велит; ляжешь спать с собакой — проснешься с блохами. Но этот Мейер Каппельгейст! Громадный краснолицый детина из Голландии, плечи в амбарную дверь не пройдут, и руки с рыжей шерстью. Громадный рот, чтобы есть и пить и рассказывать небылицы, а о голландских Каппельгейстах он говорил так, что можно подумать, все они из чистого золота. «Журавль говорит: «Я павлин — по матери, во всяком случае». А все же человек преуспевающий — этого не отнимешь. Тоже начал с мешка, как дедушка нашего дедушки, а теперь торговал с индейцами и только деньги успевал класть в карман. Якобу казалось, что он прийти не может к Эттельсону, чтобы не встретиться с Мейером и не услышать про этих индейцев. И сохли слова во рту у Якоба, и ком вставал в горле.

Едва только Якоб начинал толковать стих или притчу, он видел, что Мейер Каппельгейст смотрит на девушку. А когда Якоб заканчивал толкование и наступала тишина, Мейер Каппельгейст непременно благодарил его, но всегда таким тоном, который говорил: «Закон это Закон, пророки это пророки, мой маленький мудрец, но и первосортный бобер это, между прочим, первосортный бобер». И не было Якобу удовольствия в его учености, и девушка не радовала его сердце. Он сидел молча и пылал, а Мейер рассказывал еще одну громкую историю об индейцах и шлепал себя по коленям. А в конце не забывал спросить Якоба, сколько иголок и булавок он сегодня продал; когда Якоб отвечал, он улыбался и ласково говорил, что все начинается с малого,— и девушка не могла сдержать легкой улыбки. Якоб ломал голову, пытаясь найти более интересную тему. Он рассказывал о войнах Маккавеев и славе Храма. Но и о них рассказывая, чувствовал, что все это далеко. В то время как Мейер с его проклятыми индейцами — здесь; и глаза у девушки горят от его рассказов.

Наконец он собрался с духом и пошел к Симону Эттельсону. Для него это было нелегким делом — он был обучен

биться над словами, а не с людьми. Но теперь ему казалось, что, куда бы он ни пришел, он слышит только об одном — о Мейере Каппельгейсте и его торговле с индейцами, и это сводило его с ума. И вот он пошел в магазин к Симону Эттельсону.

— Мне надоела мелочная торговля иголками и булавками,— говорит он без лишних слов.

Симон Эттельсон посмотрел на него пронзительно; он был честолюбивый человек, но он был человек добрый.

— Но,— сказал он,— у тебя хорошая маленькая торговля, и люди тебя любят. Сам я начал с меньшего. Чего бы ты хотел большего?

— Я бы хотел гораздо больше,— холодно ответил дедушка нашего дедушки.— Я бы хотел иметь жену и дом в этой новой стране. Но как мне содержать жену? На иголки и булавки?

— И такое бывало,— сказал Симон Эттельсон с легкой улыбкой.— Ты хороший парень, Якоб, и мы в тебе заинтересованы. Ну, а если речь идет о женитьбе, есть много достойных девушек. Дочь есть у пекаря Ашера Леви. Правда, она немножко косит, но у нее золотое сердце.— Он сложил руки и улыбнулся.

— Я думаю не о дочери Леви,— опешив, сказал Якоб. Симон Эттельсон кивнул, и лицо его стало серьезным.

— Якоб,— сказал он.— Я понимаю, что у тебя на душе. Ты хороший парень, Якоб, и много учился. И будь это в старой стране — о чем речь? Но здесь одна моя дочь замужем за Сейхасом, а другая за Да Сильвой. Это разница — ты должен понять.— И он улыбнулся улыбкой человека, весьма довольного своей жизнью.

— А если бы я был такой, как Мейер Каппельгейст? — с горечью спросил Якоб.

— Ну... это немножко другое дело,— рассудительно ответил Симон Эттельсон.— Ведь Мейер торгует с индейцами. Да, он грубоват. Но он умрет богатым человеком.

— Я тоже буду торговать с индейцами,— сказал Якоб

и задрожал.

Симон Эттельсон посмотрел на него так, как будто он сошел с ума. Он посмотрел на его узкие плечи и руки книжника.

— Ну, Якоб, не надо глупостей,— успокоил его Симон.— Ты образованный юноша, ученый, тебе ли торговать с индейцами? Может быть, дела у тебя лучше пойдут в лавке. Я могу поговорить с Аароном Копрасом. И раньше или позже мы подыщем тебе подходящую девушку. Но торговать с индейцами... нет, тут нужно быть другим человеком. Предоставь это Мейеру Каппельгейсту.

— А вашу дочь, эту лилию долины? И ее предоставить Мейеру Каппельгейсту? — закричал Якоб.

Симон Эттельсон смутился.

— Но, Якоб,— сказал он.— Это ведь еще не решено...

— Я выйду против него, как Давид против Голиафа,— не помня себя, воскликнул дедушка нашего дедушки.— Я войду в дебри. И Бог рассудит, кто из нас достойнее!

Он швырнул на пол свой мешок и вышел из магазина. Симон Эттельсон окликнул его, но он не остановился. И не было у него желания искать сейчас девушку. На улице он пересчитал свои деньги. Денег было немного. Он собирался взять товар у Симона Эттельсона в кредит, но теперь это было невозможно. Он стоял на солнечной улице Филадельфии как человек, похоронивший надежду.

Однако он был упрям — и даже сам еще не знал, до какой степени. И хотя надежду он потерял, ноги принесли его к дому Рафаэля Санчеса.

Так вот, Рафаэль Санчес мог дважды купить и продать Симона Эттельсона. Надменный старик со свирепыми черными глазами и бородой белее снега. Он жил на отшибе в большом доме, с внучкой, говорили, что он весьма учен, но высокомерен, и еврей для него не еврей, если не происходит из чистых сефардов*.

* Евреи Испании, Португалии или их потомки.

Якоб видел его на собраниях общины Миквей Исроэл, и Якобу он казался похожим на орла, хищным, как орел. Но теперь, в минуту нужды, он постучался в дверь к этому человеку.

Открыл ему сам Рафаэль Санчес.

— И что же продается сегодня, разносчик? — сказал он, презрительно глядя на плечи Якоба, вытертые лямками.

— Продается мудрец Торы,— ответил Якоб в ожесточении, и говорил он не на языке, которому выучился в этой стране, а на древнем еврейском.

Старик пристально посмотрел на него.

— Я получил отповедь,— сказал он.— Потому что ты знаешь язык. Входи, мой гость.— И Якоб дотронулся до мезузы* на косяке и вошел.

Он разделил полуденную трапезу с Рафаэлем Санчесом, сидя за его столом. Стол был из темного с пламенем красного дерева, и свет тонул в нем, как в пруду. В комнате стояло много ценных вещей, но Якобу было не до них. Когда они поели и прочли молитву, он открыл свою душу и заговорил, а Рафаэль Санчес слушал, поглаживая бороду одной рукой. Юноша умолк, и тогда он заговорил сам.

— Итак, ученый,— сказал он, но без насмешки,— ты переплыл океан, чтобы жить, а не умереть, и не видишь ничего, кроме девичьего лица?

— Разве Иаков не служил семь лет за Рахиль? — спросил дедушка нашего дедушки.

— Дважды семь, ученый,— сухо ответил Рафаэль Санчес,— но то было в блаженные дни.— Он опять погладил бороду.— Ты знаешь, зачем я приехал в эту страну?

— Нет,— сказал Якоб Штайн.

— Не ради торговли,— сказал Рафаэль Санчес.— Мой дом одалживал деньгами королей. Немножко рыбы, несколько шкурок — что они для моего дома? Нет — за

* Коробка или трубка с заключенными в ней библейскими текстами, прикрепляемая к косяку при входе в дом.

обетованием, обетованием Пенна,— что эта страна должна стать домом и прибежищем не только для христиан. Да, мы знаем христианские обещания. Но до нынешнего дня они выполнялись. В тебя здесь плюют на улицах, мудрец Торы?

— Нет,— сказал Якоб.— Иногда меня называют жидом. Но квакеры, хотя и христиане,— добрые.

— Не во всех странах так,— сказал Рафаэль Санчес с ужасной улыбкой.

— Да,— тихо ответил Якоб,— не во всех.

Старик кивнул.

— Да, такое не забываешь. Плевок стирается с одежды, но его не забываешь. Не забываешь о гонителе и гонимом. Вот почему в общине Миквей Исроэл меня считают сумасшедшим, когда я говорю что думаю. Смотри,— и он вынул из ящика карту,— вот что мы знаем об этих колониях, а здесь и здесь наш народ начинает новую жизнь в другой обстановке. Но здесь вот — Новая Франция, видишь? — и по великой реке движутся французские купцы и их индейцы.

— И что? — озадаченно спросил Якоб.

— И что? — сказал Рафаэль Санчес.— Ты слепой? Я не верю королю Франции. Их прошлый король изгнал гугенотов, и кто знает, что сделает нынешний? А если они не пустят нас к великим рекам, мы никогда не попадем на Запад.

— Мы? — с недоумением переспросил Якоб.

— Мы,— подтвердил Рафаэль Санчес. Он хлопнул ладонью по карте.— О, в Европе они этого не понимают — даже их лорды в парламенте и государственные министры. Они думают, что это шахта и надо разрабатывать ее как шахту, как испанцы разрабатывали Потоси, но это не шахта. Это страна, проснувшаяся к жизни, и пока что безымянная и не открывшая лица. Нам суждено быть ее частью — и помни это в дебрях, мой юный мудрец Торы. Ты думаешь, что отправляешься туда ради девичьего лица,

и это неплохо. Но ты там можешь найти то, чего не ожидал найти.

Он смолк, и теперь его глаза смотрели по-другому.

— Понимаешь, первый — всегда купец,— сказал он.— Всегда купец — раньше, чем поселенец. Христиане забудут это, и кое-кто из наших тоже. Но за землю Ханаанскую платят; платят кровью и потом.

Рафаэль Санчес сказал Якобу, что он ему поможет, и отпустил его; Якоб вернулся домой в свою комнату, и голова у него странно гудела. То ему казалось, что община Миквей Исроэл правильно считает Рафаэля Санчеса полоумным. То он начинал думать, что слова старика — завеса и за нею движется и шевелится какой-то громадный неразгаданный образ. Но больше всего он думал о румяных щеках Мириам Эттельсон.

В первое торговое путешествие Якоб отправился с шотландцем Маккемпбелом. Странный был человек Маккемпбел — с угрюмым лицом, холодными голубыми глазами, но сильный и добродушный и большой молчун — покуда не начинал говорить о десяти пропавших коленах Израиля*. У него было убеждение, что они-то и есть индейцы, живущие за Западными горами,— на эту тему он мог говорить бесконечно.

А вообще у них было много полезных разговоров: Маккемпбел цитировал доктрины равви по имени Джон Кальвин, а дедушка нашего дедушки отвечал Талмудом и Торой, и Маккемпбел чуть не плакал оттого, что такой сладкогласный и ученый человек осужден на вечное проклятье. Однако обходился он с дедушкой нашего дедушки не как с обреченным на вечное проклятье, а как с человеком и тоже говорил о городах убежища как о чем-то насущном,

* В 722 г. до н. э. Израильское царство было захвачено ассирийцами, и его население, десять племен, угнано в плен. На этом следы их в истории теряются. Разные авторы отождествляли эти племена с народами Аравии, Афганистана, Индии, Британии, индейцами Северной Америки и т. д.

потому что его народ тоже был гонимым.

Позади остался большой город, потом близлежащие городки, и скоро они оказались в дикой стране. Все было непривычно Якобу Штайну. Первое время он просыпался по ночам, лежал и слушал, и сердце у него стучало, и каждый шорох в лесу казался шагами дикого индейца, а каждый крик совы — боевым кличем. Но постепенно это прошло. Он стал замечать, как тихо движется могучий Кемпбел; он стал ему подражать. Он узнавал много такого, чего не знает в своей мудрости даже мудрец Торы,— как навьючить поклажу на лошадь, как развести костер, какова утренняя заря в лесу и каков вечер. Все было внове для него, и порой он думал, что умрет от этого, потому что плоть его слабела. Но он шел вперед.

Когда он увидел первых индейцев — в лесу, не в городе,— колени его застучали друг о дружку. Они были такие, какие снились ему в снах, и он вспомнил духа Аграт-Бат-Махлат и семьдесят восемь ее пляшущих демонов — потому что они были раскрашены и в шкурах. Но он не мог допустить, чтобы его колени стучали друг об дружку при язычниках и христианине, и первый страх прошел. Оказалось, что они очень серьезные люди, поначалу они держались очень церемонно и молчаливо, но когда молчание было сломано, сделались очень любопытными. Маккемпбела они знали, а его нет и стали обсуждать его и его наряд с детским простодушием, так что Якоб почувствовал себя голым перед ними, но уже не боялся. Один показал на мешочек, висевший у Якоба на шее — в этом мешочке Якоб для сохранности носил филактерии*,— тогда Маккемпбел что-то объяснил и коричневая рука сразу опустилась, а индейцы о чем-то загудели между собой.

После Маккемпбел сказал, что они тоже носят мешочки из оленьей кожи, а в мешочках священные предметы,

* Кожаные коробочки с заключенными в них библейскими текстами. Во время молитвы их надевают на лоб и левую руку.

поэтому они решили, что он, наверное, человек не простой. Он удивился. И еще больше удивился, когда стал есть с ними оленье мясо у костра.

Мир, куда он попал, был зеленый и темный мир — темный от лесной тени, зеленый лесной зеленью. Сквозь него шли тропы и дорожки, еще не ставшие дорогами и шоссе, еще без пыли и запаха людских городов, с другим запахом и другого вида. Эти тропы Якоб старательно запоминал и рисовал на карте — таково было одно из распоряжений Рафаэля Санчеса. Работа была большая, трудная и, казалось, бесцельная; но что он обещал, то и делал. Они все углублялись и углублялись в лесную глубь, Якоб видел прозрачные речки и широкие поляны, не населенные никем, кроме оленей, и у него рождались новые мысли. Его родина Германия казалась ему теперь очень тесной и многолюдной; раньше он и представить себе не мог, что мир бывает таким просторным.

Иногда в мечтах он уносился назад — к мирным полям вокруг Реттельсхайма, к кирпичным домам Филадельфии, к фаршированной рыбе и изюмному вину, к пению в хедере, к халам тихой субботы под белым полотном. На миг все это возникало очень близко, но тут же становилось далеким. Он ел оленину в лесу и спал возле угольев под открытым небом. Вот так же, наверно, Израиль ночевал в пустыне. Раньше это ему не приходило в голову, но так, наверно, и было.

Иногда он смотрел на свои руки — они стали совсем коричневые и жесткие, как будто уже и не его руки. Иногда, нагнувшись, чтобы напиться из ручья, видел свое лицо. У него отросла борода, черная и косматая — вовсе не борода ученого юноши. Мало того, теперь он был одет в шкуры; сперва его удивляло, что он в шкурах, потом перестало удивлять.

Все это время, ложась спать, он думал о Мириам Эттельсон. Но странно, чем больше он старался вызвать в памяти ее лицо, тем больше оно расплывалось.

Он потерял счет дням — была только карта, торговля, путь. Ему уже казалось, что пора повернуть назад — их мешки были полны. Он сказал об этом Маккемпбелу, но Маккемпбел помотал головой. Теперь глаза у шотландца горели — огонь этот дедушке нашего дедушки казался странным,— а ночами Маккемпбел молился — и долго, и порой слишком громко. И вот они вышли на берег великой реки, коричневой и широкой, и увидели ее и страну за ней, будто стояли перед Иорданом. Не было конца у той страны, она простиралась до края небес, и Якоб видел ее своими глазами. Сперва он даже испугался, а потом испуг прошел.

И здесь могучий Маккемпбел захворал, здесь он умер и был похоронен. Якоб похоронил его над рекой, на утесе, а могилу вырыл так, чтобы шотландец смотрел на запад. Перед смертью Маккемпбел опять бредил десятью пропавшими коленами и клялся, что они прямо там, за рекой, и он пойдет к ним. Якоб держал его из последних сил — в начале путешествия он бы не справился. Наконец он повернул назад: он тоже увидел землю обетованную — не только для своего племени, но и для народов, которые еще явятся сюда.

Тем не менее его захватили индейцы шони — в жестокий мороз, когда пала его последняя лошадь. Сперва, когда на него посыпались беды, он оплакивал потерю лошадей и хороших бобровых шкур. Но когда его захватили индейцы, он перестал плакать: ему казалось, что он уже не он, а другой человек, незнакомый.

Он нисколько не забеспокоился, когда его привязали к столбу и обложили дровами,— ему все еще казалось, что это происходит с другим человеком. Однако он молился как подобало, громко и нараспев — в дебрях о Сионе молился. Ему чудился запах хедера и знакомые голоса — реб Моисея и реб Натана, а сквозь них слышался странный голос Рафаэля Санчеса, говоривший загадками. Потом его обволок дым и он закашлялся. В горле стало горячо.

Он попросил пить, и хотя они не поняли его слов, признаки жажды и так понятны — ему подали полную чашу. Он жадно поднес ее к губам, но жидкость была раскаленная и обожгла ему рот. Дедушка нашего дедушки очень рассердился, и, даже не крикнув, он взял чашу обеими руками и бросил в лицо тому, кто ее подал,— ошпарил его. Раздался крик индейцев, потом гудение голосов, а вскоре он почувствовал, что его отвязывают, и понял, что жив.

Спасло его то, что он бросил в индейца чашу, стоя на костре,— в этих делах у них особый этикет. Индейцы не сжигают безумных; раз он бросил чашу, значит, он безумец — здоровый человек так не поступит. По крайней мере, так они объяснили ему впоследствии, хотя он по-прежнему подозревал, что они просто играли с ним, как кошка с мышью, испытывали его. Кроме того, на них произвела впечатление его предсмертная песнь на неведомом языке и то, что в смертный час он вынул из мешочка филактерии и навязал на лоб и руку,— индейцы сочли их сильным талисманом и непонятным. Во всяком случае, с костра его отпустили, хотя бобров не отдали, и зиму он прожил в вигвамах шони — то как слуга, то как гость, но все время в шаге от гибели. Потому что он был непонятен, и они не знали, как с ним поступить; впрочем, человек с ошпаренным лицом имел на его счет свое мнение, и Якоб это видел.

Зима выдалась мягкая, охота шла успешнее обычного, и все это приписали ему, а также волшебным филактериям; к концу зимы он стал заговаривать с индейцами о торговле, поначалу с робостью. Боже мой, сколько бед пережил дедушка нашего дедушки! Правда, были не только беды — он научился у шони охотничьему искусству и начал говорить на их языке. Но он не вполне им доверял; а когда наступила весна и уже можно было двигаться, он сбежал. Теперь он был не ученый, а охотник. Он пытался сообразить, какой сегодня день по календарю, но в памяти сидело только «Пчелиная Луна» да «Ягодная Луна». Однако когда он вспоми-

нал праздник, он старался его соблюдать — и всегда молился о Сионе. Но теперь Сион представлялся ему не таким, как прежде,— не белым городом на горе, а широкой открытой страной, готовой принять народы. Он не смог бы объяснить, почему переменилось у него представление, но оно переменилось.

Я не буду рассказывать все — кому известно все? Я не буду рассказывать о том, как он набрел на покинутую факторию и о сорока золотых французских луи в поясе мертвеца. Не буду рассказывать о подростке Макгилври, которого он нашел на окраине поселка — паренек стал впоследствии его компаньоном,— о том, как они опять торговали с шони и добыли много бобров. Одно мне осталось рассказать, потому что это правда.

Он давно уже и не вспоминал о Мейере Каппельгейсте — об этом предприимчивом детине с рыжей шерстью на руках. Но теперь они держали путь к Филадельфии, он и Макгилври, со своими вьючными лошадьми и бобровыми шкурами; и когда тропы опять стали знакомыми, в голове зашевелились прежние мысли. Мало того, в дальних лесных поселениях его встречали слухи о рыжем купце. Поэтому, повстречав его самого в каких-нибудь тридцати милях от Ланкастера, Якоб нисколько не удивился.

Так вот, Мейер Каппельгейст всегда казался дедушке нашего дедушки громадным мужчиной. Но тут, в дебрях, случайно попавшись ему на дороге, Мейер Каппельгейст не показался таким громадным, и это Якоба изумило. Еще больше изумился Мейер Каппельгейст: он долго и озадаченно смотрел на дедушку нашего дедушки, а потом закричал: «Так ведь это маленький талмудист!» — и шлепнул себя по колену. Потом они чинно поздоровались, и Мейер Каппельгейст выпил по случаю встречи, а Якоб пить не стал. Потому что, пока они говорили, Мейер Каппельгейст не отрывал алчных глаз от его вьюков с бобрами, и это Якобу не понравилось. Не понравилась ему и тройка мирных индейцев, сопровождавшая Мейера Каппельгейста,

и, хотя Якоб сам был человек мирный, оружие он держал под рукой, и парнишка Макгилври — тоже.

Мейер Каппельгейст уговаривал его двигаться дальше вместе, но Якоб отказался — как я уже говорил, ему не понравились глаза рыжего купца. Он сказал, что пойдет другой дорогой, и на этом кончил разговор.

— А что слышно о Симоне Эттельсоне — я знаю, ты близок с ними, у них, конечно, все хорошо? — спросил Якоб на прощание.

— Близок с ними? — сказал Мейер Каппельгейст и стал чернее тучи. Потом натянуто засмеялся.— А я с ними больше не знаюсь. Старый мерзавец пообещал выдать дочку за родственника Сейхасов — из новеньких, только что приехал, но богатый, говорят. А вообще, мы с тобой легко отделались, ученый,— на мой вкус, она всегда была маленько костлява.— И он грубо захохотал.

— Она была нарцисс Саронский и лилия долины,— почтительно сказал Якоб, не ощутив, правда, той боли, какую должно было бы вызвать это известие, зато еще больше утвердившись в решении не идти вместе с Мейером Каппельгейстом. На этом они расстались, и Мейер Каппельгейст пошел своей дорогой. А Якоб на развилке выбрал тропу, которую знал Макгилври,— и правильно сделал. Когда они пришли в Ланкастер, их ждала новость о купце, убитом спутниками-индейцами; Якоб стал выяснять подробности, и ему показали что-то засушенное на обруче из лозы. Якоб посмотрел на эту вещь и увидел, что волосы на ней рыжие.

— И оскальпировали, видишь, но мы отняли,— сказал житель пограничного поселка.— Когда мы поймали краснокожего черта, эта штука была при нем. Надо было бы и скальп похоронить, наверно, да самого-то раньше похоронили — ничего не поделаешь. Пожалуй, захвачу с собой как-нибудь в Филадельфию — может быть, на губернатора подействует. Слушай, если ты туда идешь, можешь взять — он же сам оттуда. Родственникам его оставишь на память.

— Мог быть и мой, если бы я пошел с ним,— сказал Якоб. Он еще раз посмотрел на эту вещь, и душа в нем восстала против того, чтобы к ней прикоснуться. Но городским не мешало знать, что случается с человеком в дебрях и какова цена крови.— Я возьму его,— сказал он.

Якоб остановился перед дверью Рафаэля Санчеса в Филадельфии. Он постучал в нее кулаком, и выглянул сам старик.

— И какое же у тебя ко мне дело, житель границы? — выглянув, спросил старик.

— Сколько крови дают за страну? — сказал Якоб Штайн. Он не повысил голоса, но слышалась в нем такая нотка, которой не было в первый его приход к Санчесу.

Старик смотрел на него хладнокровно.

— Входи, сын мой,— сказал он наконец, и Якоб дотронулся до мезузы у косяка и вошел.

Он брел по передней и коридору как спящий человек. Потом он оказался в кресле, за столом из темного красного дерева. В комнате не изменилось ничего... ему было странно видеть, что в ней ничего не изменилось.

— Что же ты видел, сын мой? — промолвил Рафаэль Санчес.

— Я видел землю Ханаанскую, где течет молоко и мед,— ответил Якоб, мудрец Торы.— Я принес виноград Есхола и другие вещи, видеть которые страшно! — закричал он и услышал, как вместе с криком из горла его рвется рыдание. Он подавил рыдание.— Кроме того, есть восемнадцать вьюков лучшего бобра, они лежат на складе, и есть мальчик по фамилии Макгилври, христианин, но очень надежный,— сказал он.— Бобры очень хорошие, и мальчику я покровительствую. А Маккемпбел умер у великой реки, но он видел эту землю, и, я думаю, он покоится в мире. Карта составлена не так, как мне хотелось бы, но на ней показаны новые места. И мы должны торговать с шони. Надо построить три фактории — я отметил их на карте,— а потом еще. За великой рекой — страна, простирающаяся

до края света. Перед ней лежит Маккемпбел, и лицо его обращено к западу. Но какой толк в разговорах? Ты не поймешь.— Он опустил голову на руки, потому что в комнате было слишком тихо и покойно, а он очень устал. Рафаэль Санчес обошел вокруг стола и тронул его за плечо.

— Разве я не говорил тебе, сын мой, что в дебрях можно найти кое-что другое, кроме девичьего лица? — сказал он.

— Девичьего лица? — сказал Якоб.— Да она собирается замуж и, надеюсь, будет счастлива, потому что она была лилия долины. Но что такое девичьи лица рядом с этим? — И он бросил на стол какую-то вещь. Она сухо загремела по столу, как сброшенная змеиная кожа, но волосы на ней были рыжей масти.

— Это было Мейером Каппельгейстом,— по-детски пожаловался Якоб,— а он был человек сильный. Я же не сильный, а ученый. Но я видел то, что видел. И мы должны прочесть кадиш* по нему.

— Да, да,— согласился Рафаэль Санчес.— Это будет сделано. Я позабочусь.

— Но ты не понимаешь,— сказал Якоб.— Я ел оленье мясо в дебрях, и я забыл месяц и год. Я был слугой у язычников и держал в руке скальп моего врага. Я никогда не стану прежним человеком.

— Нет, ты станешь прежним,— сказал Санчес.— И может быть, не менее ученым. Но это новая страна.

— Пусть это будет страна для всех,— сказал Якоб.— Потому что мой друг Маккемпбел тоже умер, а он был христианином.

— Будем надеяться,— сказал Рафаэль Санчес и снова тронул его за плечо.

Тогда Якоб поднял голову и увидел, что свет убывает и спускается вечер. И пока он смотрел, вошла внучка Рафаэля Санчеса, чтобы зажечь свечи для субботы. И Якоб посмотрел на нее, и она была голубица с голубиными глазами.

* Заупокойная молитва.

За зубом к Полю Ревиру*

I

Одни говорят, это Хэнкок и Адамс** ее заварили (сказал старик, попыхивая трубкой), другие спорят, что все началось еще с Закона о гербовом сборе или даже того раньше. Опять же есть которые стоят за Поля Ревира и его серебряный коробок. Но как я слышал, она разразилась из-за Лиджа Баттервика и его зуба.

Что разразилось? Да она, Американская революция. Что же еще. Вы вот тут толковали про то, как южане запрягали крокодилов землю пахать, я к слову и припомнил.

Да нет же, это не басни. Мне рассказывала двоюродная бабка, она сама урожденная Баттервик. Она много раз писала куда надо, хотела, чтобы тот случай внесли в книги по истории. Но всегда ей отказывали под каким-нибудь пустячным предлогом. Наконец она разозлилась и написала письмо прямо президенту Соединенных Штатов. Нет, понятное дело, собственноручно он ей не ответил, у президента, надо полагать, дел хватает. Но в ответе, который ей

* Поль Ревир (1735—1818) — бостонский ювелир и гравер, активный участник борьбы за независимость Американских колоний, был гонцом Массачусетского Корреспондентского комитета. В ночь на 18 апреля 1775 года проскакал из Бостона через Чарлстон в Конкорд, сообщая о предстоящем выступлении английских войск и подымая жителей на войну. Эпизод этот описан в хрестоматийной балладе Г. Лонгфелло «Скачка Поля Ревира», сюжет которой отчасти травестирован в данном рассказе.

** Сэмюел Адамс (1722—1803) и Джон Хэнкок (1737—1793) — видные политические деятели, в 60-е и 70-е годы были среди тех, кто возглавлял борьбу за независимость. Адамс был первым, кто поставил подпись под Декларацией Независимости.

прибыл, сказано, что президент получил ее интересное сообщение и выражает ей признательность, так что вот. Эта бумага у нас в рамке на стене висит, чернила, правда, малость повыцвели, но подпись еще можно разобрать — не то Бауэрс, не то вроде Торп,— и почерк прямо каллиграфический.

Историю, как она в книгах записана, моя двоюродная бабка не уважала. Ей нравились в истории неожиданные закоулки и разные предания, какие сохраняются в семьях. К примеру, про Поля Ревира все только то и помнят, как он скакал на коне. А когда о нем рассказывала моя двоюродная бабка — ну прямо видишь его в мастерской, как он заваривает в серебряном чайнике Американскую революцию и ждет, пока настоится. Да, верно, он был серебряных дел мастер, но, по ее словам, это еще не все. Как она рассказывала, выходило, что в его быстрых и ловких руках таилась волшебная сила, и вообще он был из тех людей, кто умеет заглядывать в будущее. Но когда речь заходила о Лидже Баттервике, тут уж бабка пускалась во все тяжкие.

Всякие люди нужны, чтобы составить новый народ, говорила она, немудрящие в том числе. Не выродки какие-нибудь или лоботрясы, а обыкновенные, простые люди, которые не смотрят дальше сегодняшнего дня. Может быть, этот день — важная историческая дата, а для них — вторник как вторник, покуда они не вычитают о великом событии задним числом из газет. Другое дело герои, исторические деятели, они замышляют и строят планы и видят далеко вперед. Но чтобы события действительно произошли, надо расшевелить таких людей, как Лидж Баттервик. Она, по крайней мере, так объясняла. А расшевелить их иной раз помогают самые удивительные случаи. И в доказательство она рассказывала такую историю.

Этот Лидж Баттервик, пока у него не разболелся зуб, был обыкновенный человек, ну, как вы и я. Жил себе тихомирно на своей ферме милях в восьми от Лексингтона,

штат Массачусетс. А времена в Американских колониях были неспокойные — тут тебе и английские корабли в бостонской гавани, и английские солдаты на бостонских улицах, и Сыны Свободы, дразнящие английских солдат, не говоря уж о Бостонских чаепитиях и прочем тому подобном. Но Лидж Баттервик знай себе пахал землю, а на это все не обращал внимания. Таких людей сколько угодно на свете, даже и в неспокойные времена.

Конечно, бывая в городе, он слышал в пивной зажигательные речи, но сам, накупив что надо, чин чином возвращался домой — имелись и у него свои взгляды на политику, только он их не высказывал. Как фермер, он был завален заботами, как муж и отец пятерых детей, горбатился с утра до ночи. Хорошо молодежи рассуждать про короля Георга и Сэма Адамса — Лиджа Баттервика больше занимало, почем в этом году пойдет пшеница. Иной раз, когда при нем говорили, что то-то и то-то — возмутительное безобразие, он тоже вроде бы соглашался и поддакивал, но из чистого добрососедства. А про себя в это время соображал, не рискнуть ли на будущий год засеять западное поле рожью?

Таким путем у него все и шло, как обычно у людей, случались хорошие года, случались и плохие, покуда однажды апрельским утром 1775 года он не проснулся с зубной болью. Поначалу он на это не обратил внимания, такой у него был характер. Но вечером за ужином проговорился жене, и она приспособила ему мешочек с разогретой солью. Приложил мешочек к щеке — вроде бы полегчало, но всю ночь так не продержишь, а на следующее утро зуб разболелся еще сильнее.

Ну, он протерпел еще день и еще, но на поправку не шло. Пробовал отвар пижмы и другие снадобья — даже обвязал было зуб ниткой, чтобы жена прикрутила конец к ручке и изо всех сил хлопнула дверью,— но в последнюю минуту духу не хватило. Кончилось дело тем, что он сел на лошадь и поехал со своим зубом в город Лексингтон.

Это миссис Баттервик его уломала, говорит, оно, может, и выйдет накладно, но все лучше, чем терпеть, как он на всех бросается и, чуть что не по нем, норовит пнуть кошку ногой.

Вот приезжает он в Лексингтон и замечает, что люди там все вроде как взбудоражены. Только и разговоров что про мушкеты и порох и про каких-то двоих, Хэнкока и Адамса, которые сидят в доме у пастора Кларка. Но у Лиджа Баттервика было в городе свое неотложное дело, да и зуб у него так болел, что тут не до разговоров. Он отправился к местному цирюльнику, потому что кто же еще мог вырвать человеку зуб?

Но цирюльник едва только заглянул ему в рот, как сразу покачал головой и говорит:

— Вырвать-то я тебе его вырву, Лидж. Вырвать, это мы можем. Но у него большие крепкие корни, я его выдеру, знаешь, какая дыра останется? Что тебе на самом деле надо,— горячо сказал цирюльник, бойкий маленький человечек, такие всегда интересуются новейшими достижениями,— что тебе на самом деле надо сделать, скажу я тебе, хоть мне это и невыгодно, так это вставить на его место искусственный зуб, как теперь научились.

— Искусственный зуб! — изумился Лидж.— Да ведь это будет против законов природы.

Но цирюльник покачал головой.

— Вовсе нет, Лидж. Тут ты ошибаешься. Искусственными зубами сейчас увлекаются все, и Лексингтону не к лицу отставать. То-то будет здорово, если ты обзаведешься искусственным зубом, ей-богу. Мне это будет очень приятно.

— Тебе, может, и будет приятно,— ответил Лидж раздраженно, потому что зуб у него страшно болел,— но ежели я, допустим, тебя послушаю, как мне раздобыть искусственный зуб у нас в Лексингтоне?

— В этом положись на меня,— обрадовался цирюльник. И стал что-то искать в своих бумагах.— Тебе, правда,

придется съездить в Бостон, но я как раз знаю, к кому там обратиться.— Такие люди всякого готовы направить, и при этом обычно не туда.— Вот, смотри. В Бостоне живет один мастер, Ревир его фамилия, он делает зубы, и, говорят, второго такого поискать. Взгляни на этот проспект.— Он зачитал вслух: — «Вниманию тех, кто имел несчастье потерять передние зубы (это ты, Лидж), отчего страдает как внешний вид, так и речь, равно и домашняя, и публичная; настоящим сообщается, что оные утраченные зубы могут быть замещены искусственными (видал?), каковые зубы по виду не уступают природным и отвечают целям внятного выговора». И дальше имя и адрес: «Поль Ревир, золотых дел мастер, у причала доктора Кларка, в Бостоне».

— Так-то оно так,— сказал Лидж.— Да дорого ли станет?

— Да не беспокойся, я с Ревиром знаком,— ответил цирюльник, гордо выпятив грудь.— Он частый гость в наших краях. И вообще порядочный человек, пусть и ходит в вожаках у Сынов Свободы. Сошлешься на меня.

— Ладно,— прокряхтел Лидж, у которого зуб жгло, как раскаленным железом.— Правда, это не входило в мои расчеты, ну да тратиться так уж тратиться. Я сегодня пропустил целый рабочий день, и мне позарез надо избавиться от этого зуба, покуда он совсем не свел меня с ума. Только вот что за человек все-таки этот Ревир?

— Да он волшебник! Такой мастер своего дела — настоящий волшебник! — заверил его цирюльник.

— Волшебник? — повторил Лидж.— Я в волшебстве не разбираюсь. Но если он поможет мне с этим зубом, я первый признаю его волшебником.

— Поезжай, не раскаешься,— сказал цирюльник с убеждением, как всегда говорят, когда посылают ближнего к зубному врачу.

И вот Лидж Баттервик снова сел на лошадь и пустился в Бостон. На улице люди что-то кричали ему вдогонку, да только он не обратил внимания. А проезжая мимо

дома пастора Кларка, он мельком заметил через окно в гостиной двух мужчин, занятых разговором. Один такой довольно рослый и видный из себя и одет нарядно, второй пониже, неприбранный и лицо бульдожье. Незнакомые Лиджу люди. И он проехал своей дорогой, а в их сторону даже не посмотрел.

II

Но на улицах Бостона он почувствовал себя неуютно. И не только потому, что болел зуб. Он не был в Бостоне четыре года и ожидал увидеть перемены, но сейчас дело было не в этом. Несмотря на погожий день, в воздухе вроде бы пахло грозой. На перекрестках толпились люди, что-то обсуждали, спорили, но подъедешь ближе — их словно ветром сдуло. А кто оставался, смотрели искоса, с подозрением. В бостонском порту грозно чернели английские военные корабли. Лидж про них, понятно, слышал, но одно дело слышать, другое — видеть воочию. И видеть их орудия, наведенные на город, было не очень-то приятно. Он знал, что в Бостоне беспорядки и раздоры, но знания эти не задевали его, наподобие дождя или града, когда ты под крышей. А теперь он угодил в самую бурю — и похоже, что назревало землетрясение. Лидж в этих делах не разбирался и рад был бы очутиться дома. Но ведь он приехал насчет зуба и отступаться был не намерен — в Новой Англии народ живет упрямый. Только вот перекусит и утолит жажду, а то час уже не ранний. И Лидж завернул в ближайшую корчму.

Здесь и вовсе пошли чудеса.

— Отличный сегодня денек,— обратился он к корчмарю, как того требовала вежливость.

— Тяжелый день для Бостона,— хмуро отозвался тот, и все, кто сидел в корчме, глухо заворчали и, сколько их там было, как один воззрились на Лиджа.

Подобное гостеприимство зубную боль не лечит. Но

Лидж как человек компанейский продолжал свое:

— Не знаю, как для Бостона. А у нас на фермах такая погода считается в самый раз. Подходящая для посадок.

Корчмарь поглядел на него пристально и говорит:

— Я, кажется, не за того вас принял. Погода и вправду подходящая для посадок — чтобы посадить кое-какие деревья.

— Это про какие же деревья речь? — тут же спросил востроносый посетитель слева от Лиджа и сдавил ему плечо.

— Смотря какие деревья,— одновременно с этим подхватил другой, румяный и толстощекий, который стоял у стойки справа от Лиджа, и с силой ткнул его под ребра.

— Ну, к примеру, я бы для начала...— попытался было им объяснить Лидж, но не договорил, потому что румяный снова двинул его под ребра и сам выкрикнул:

— Посадим дерево свободы! И скоро польем его кровью тиранов!

— Посадим британский королевский дуб! — заспорил востроносый.— Да здравствует король Георг и верность короне!

Что тут началось! Лиджу показалось, будто все, сколько было народу в корчме, бросились на него с кулаками. Его били, пинали, тузили, колотили, заталкивали в угол, выдергивали на середину, и румяный с востроносым, а с ними и все остальные отплясывали кадриль над его распростертым телом. Наконец он очутился на улице, потеряв в сражении полу сюртука.

— М-да,— сказал Лидж самому себе.— Я и раньше слышал, что горожане все полоумные. Но видно, политика у нас в Американских колониях приняла серьезный оборот, если люди идут друг на друга в кулаки из-за каких-то деревьев!

Смотрит, а рядом с ним стоит востроносый и норовит пожать ему руку. А под глазом у него, заметил Лидж не без злорадства, зреет славный сизый синяк.

— Благородный вы человек! — говорит ему востроносый.— Я рад встретить в этом зачумленном бунтовском городе своего единомышленника, верного лоялиста.

— Ну, тут я с вами, может, и не вполне согласен,— отвечает Лидж.— Но я приехал насчет зуба и не хочу рассуждать о политике. И если уж вы так любезны, не поможете ли вы мне вот в каком деле: понимаете, я сам из-под Лексингтона и ищу здесь человека по имени Поль Ревир...

— Поль Ревир! — вскрикнул востроносый, словно это имя ударило его в грудь, как пуля. И тут же снова заулыбался, но довольно подлой улыбкой.— Ах, вот кого вы, оказывается, разыскиваете, мой уважаемый и проницательный деревенский друг, Поля Ревира? — сказал он.— Ну что ж, я научу вас, как его найти. Спросите первого попавшегося английского солдата на улице, и он вас направит. Только сначала назовите пароль.

— Пароль? — удивился Лидж, почесывая ухо.

— Ну да,— подтвердил востроносый и оскалился.— Подойдите к английскому солдату и задайте вопрос: «Почем нынче вареные раки?» А потом спрашивайте про Ревира.

— Но почему сначала про раков? — настаивал упрямый Лидж.

— Дело в том, что английские солдаты носят красные мундиры,— объяснил востроносый.— Поэтому им нравится, когда с ними говорят про вареных раков. Попробуйте — сами увидите.

И пошел прочь. А плечи у него так и тряслись.

Лиджу Баттервику это показалось странным, хотя и не страннее всего остального, с чем он столкнулся в тот день. Но востроносый не внушал ему доверия, поэтому, встретив английский патруль, он проявил осторожность и не приблизился, а спросил про раков на расстоянии. И правильно сделал, потому что когда он задал это вопрос, английские солдаты погнались за ним, и он бежал до самой набереж-

ной, пока удалось от них отделаться, да и то пришлось для этого спрятаться в пустую бочку из-под дегтя. И хорош же он был, когда вылез!

— Должно быть, он дал мне неправильный пароль,— сказал себе Лидж, хмуря брови и оттирая деготь.— Но все равно, по-моему, не след солдатам так себя вести, когда их честь по чести спрашивают. Ну да ладно, солдаты ли, горожане, все равно им меня с толку не сбить. Я приехал насчет зуба и своего добьюсь, даже если придется переполошить всю Британскую империю.

И вдруг он заметил в конце пристани вывеску. А на той вывеске, как рассказывала моя двоюродная бабка, было якобы написано следующее: «ПОЛЬ РЕВИР, СЕРЕБРЯНЫХ ДЕЛ МАСТЕР», это сверху, саженными буквами. А ниже помельче: «Колокола и колокольцы всех размеров на заказ отливаем, гравировальные и печатные работы выполняем, изготовляем искусственные зубы и медные котлы, лудим и починяем, делаем все виды работ по золоту и серебру, а также завариваем революции на вынос. Экстренное исполнение по вторникам и пятницам, обслуживаются Лексингтон, Конкорд и далее на запад.

— Ого, вроде как мастер на все руки,— сказал себе Лидж Баттервик.— Похоже, что я со своим зубом попал куда надо.

И он направился к двери.

III

Поль Ревир стоял за прилавком и держал в руках серебряную вазу. Был он, как прикинул Лидж, мужчина немного за сорок, имел живое, смышленое лицо и цепкий взгляд. Несмотря на бостонскую одежду, в его облике проглядывало что-то французское, ведь его отец Аполлос Ривуар был выходцем с острова Гернси и принадлежал к доброму гугенотскому роду. Но, перебравшись через океан, они переделали свою фамилию на Ревир.

Лавка Поля Ревира не отличалась величиной, но в ней имелись серебряные изделия, за которые в последующие годы люди платили тысячи. И не только серебряные изделия — там были гравюры и картинки бостонского порта, и карикатуры на англичан, и разнообразные работы по золоту, всего и не перечислишь. Словом, там повернуться было негде, но порядок поддерживался образцовый. И на этом тесном пространстве хозяйничал Поль Ревир, человек стремительный и четкий, глаза живые, так и сверкают — человек, который точно знает, чего хочет, и что задумал, тут же и выполняет.

Когда Лидж Баттервик вошел в лавку, там было несколько посетителей, так что он вроде как забился в угол и стал ждать удобной минуты. Да и хотелось ему приглядеться, что за человек такой этот Поль Ревир, у которого на вывеске разные чудеса написаны, и цирюльник называл его волшебником,— хотелось посмотреть, что за люди к нему ходят.

В лавку заглянула женщина, которой нужна была крестильная чаша для ребенка, потом мужчина, который хотел приобрести гравюру Бостонского кровопролития. Один человек нашептал Ревиру украдкой какое-то тайное сообщение — Лидж уловил только слова «порох» и «Сыны Свободы», а остального не расслышал. И наконец, явилась важная дама, вся в шелку, и принялась донимать Поля Ревира. Лидж, выглянув из своего угла, нашел, что она сильно смахивает на индюшку — так же пыжится, талдычит одно и то же и на месте подскакивает.

Она выражала недовольство серебряными изделиями, которые Поль Ревир смастерил ей на заказ. Речь шла о дорогом сервизе.

— Ах, мастер Ревир,— бубнила дама.— Я так огорчена! Я едва не заплакала, когда вынула его из коробки.

Ревир было вскинул оскорбленно голову, но ответил ей со всей любезностью:

— Это я огорчен, мадам.— И слегка поклонился.— Но

в чем, собственно, дело? Наверно, мои изделия были упакованы без должной тщательности? Большие вмятины? Я отчитаю моего подручного.

— Да нет же, никаких вмятин,— гудит дама-индюшка.— Но мне нужен был роскошный серебряный сервиз, чтобы выставлять на стол, когда пожалует к обеду губернатор. Цену-то я отдала самую высокую. А вы что мне прислали?

Лидж затаил дух, ему было интересно, что скажет на это Поль Ревир. А Поль Ревир сухо ответил:

— Я прислал вам лучшую свою работу, мадам. Я мастерил эти вещи добрых полгода своими руками, а руки у меня, смею надеяться, умелые.

— А как же, мастер Ревир,— дама зашелестела юбками.— Разве я не знаю, что вы искусный художник...

— Серебряных дел мастер, с вашего позволения,— поправил ее Поль Ревир, и юбки снова зашуршали.

— Да наплевать мне, как ни назоветесь! — говорит тогда дама. И сразу стало ясно, что светские манеры ей не более пристали, чем шелковые туалеты.— Я знаю, что заказывала настоящий шикарный серебряный сервиз, чтобы всем знакомым нос утереть. А вы мне что продали? Серебро-то оно серебро, не спорю. Да только простое и прямое, будто дощатый забор!

Ревир глянул на нее молча, и Лидж подумал, что сейчас он не выдержит и взорвется.

— Простое? — повторил Ревир.— И прямое? Это для меня большая похвала, мадам.

— Похвала, как бы не так! — возмутилась дама.— Завтра же пришлю сервиз обратно! На молочнике ни льва, ни единорога! А сахарницу я хотела с виноградными гроздьями. А у вас она гладкая, как холмы Новой Англии. Я этого не потерплю, так и знайте! Я пошлю заказ в Англию!

Ревир раздул щеки. Глаза у него грозно блеснули.

— Посылайте, мадам,— проговорил он.— Мы здесь делаем все новое — новых людей, новое серебро, может быть, кто знает? новую нацию. Простые, прямые и гладкие,

как холмы и скалы Новой Англии, изящные, как гибкие ветви ее вязов,— если бы мои изделия в самом деле были такими! Я к этому стремлюсь. Что же до вас, мадам,— он плавно, как кошка, шагнул к ней,— до ваших львов, единорогов, виноградных гроздьев и всех вздорных украшений, созданных бездарными мастерами, до вашего привозного дурного вкуса и привозных английских замашек, то — кыш отсюда! — И он замахал на даму руками, точно она и впрямь была не дама, а индюшка. Она подобрала свои шелковые юбки — и бежать. Ревир посмотрел с порога ей вслед и вернулся в лавку, покачивая головой.

— Вильям! — крикнул он своему подручному.— Запри ставни, мы закрываемся. И как там, Вильям, от доктора Уоррена еще не поступало вестей?

— Пока еще нет, сэр! — отозвался слуга и принялся устанавливать ставни.

Тут Лидж Баттервик подумал, что пора дать хозяину знать о своем присутствии. Он кашлянул. Поль Ревир резко обернулся, и его пронзительные, быстрые глаза впились в Лиджа. Лидж не то чтобы струхнул, ему упорства было не занимать, но он почувствовал, что встретился с человеком необычным.

— Ну, приятель,— нетерпеливо произнес Ревир.— А вы кто еще такой?

— Да вот, мистер Ревир,— сказал Лидж Баттервик.— Я ведь говорю с мистером Ревиром, не так ли? Тут, понимаете ли, долгая история, а вы закрываетесь, но все-таки вам придется меня выслушать. Мне цирюльник присоветовал.

— Цирюльник? — недоуменно переспросил Поль Ревир.

— Ну да,— ответил Лидж и разинул рот.— Видите? Я насчет зуба.

— Насчет зуба?! — Ревир выпучил на него глаза, как сумасшедший на сумасшедшего.— Расскажите все толком и по порядку. Но постойте-ка, постойте. Вы, по разговору судя, не бостонец. Откуда вы приехали?

— Из-под Лексингтона. И вот, понимаете ли...

Но при упоминании Лексингтона Ревир сразу пришел в волнение. Он схватил Лиджа за плечи и встряхнул.

— Из-под Лексингтона! Вы были в Лексингтоне сегодня утром?

— Ясное дело,— отвечает Лидж.— Это тамошний цирюльник, о котором я вам говорил...

— Бог с ним, с цирюльником,— отмахнулся Ревир.— А мистер Хэнкок с мистером Адамсом были утром еще у пастора Кларка?

— Может, и были. Откуда мне знать.

— Силы небесные! — удивился Ревир.— Неужели в Американских колониях нашелся хоть один человек, который не знает мистера Адамса и мистера Хэнкока?

— Похоже, что один нашелся,— подтвердил Лидж Баттервик.— Но к слову сказать, когда я ехал мимо пасторского дома, там находились двое приезжих, один такой вроде бы франт, а второй смахивает на бульдога...

— Хэнкок и Адамс! Так, значит, они все еще там.— Ревир прошелся взад-вперед по комнате.— А между тем англичане уже готовы выступить,— пробормотал он себе под нос.— Много ли солдат вы видели на пути сюда, мистер Баттервик?

— Видел? Да они бежали за мной и загнали меня в бочку из-под дегтя! И на площади их собралась уйма, с пушками и знаменами. Похоже, что у них серьезное дело на уме.

Ревир схватил его за руку и стал трясти.

— Благодарю вас, мистер Баттервик! Вы внимательный наблюдатель. Вы оказали мне — и Американским колониям — неоценимую услугу.

— Что ж, очень приятно,— говорит Лидж.— Но насчет моего зуба...

Ревир взглянул на него и рассмеялся, и от глаз его пошли морщинки.

— Вы упорный человек, мистер Баттервик. И это хорошо. Мне нравятся упорные люди. Побольше бы их у нас

было. Что ж, услуга за услугу. Вы оказали услугу мне, и я тоже вам услужу. Мне действительно случалось мастерить искусственные зубы, а вот зубодерство — не по моей части. Но все-таки я постараюсь вам помочь.

Лидж уселся в кресло и разинул рот.

— Ну и ну,— покачал головой Поль Ревир, хотя глаза у него смеялись.— Мистер Баттервик, похоже, что у вас сложная агглютинированная инфракция верхнего клыка. Боюсь, что сегодня вечером я уже ничего с ним сделать не смогу.

— Но как же?..— заспорил было Лидж.

— Вот вам питье, оно немного облегчит боль,— сказал Ревир и налил в чашку какого-то лекарства.— Выпейте!

Лидж выпил. Это была пахучая, довольно едкая жидкость красного цвета со странным сонным привкусом. Никогда ничего подобного Лидж не пил. Но боль немного отпустила.

— Ну вот,— сказал Ревир.— Теперь ступайте в корчму и хорошенько выспитесь. А утром приходите ко мне, я найду вам зубодера, если не уеду. Да, и вот еще что, возьмите немного мази.

Он стал рыться в высоком шкафу в глубине лавки. Было уже довольно темно, близился вечер, и ставни на окнах загораживали остаток дневного света. То ли из-за зуба, то ли из-за усталости, то ли это питье Ревира так подействовало, но только Лиджу Баттервику сделалось как-то не по себе. В голове шумело, ноги стали невесомыми. Он поднялся, заглянул через плечо Полю Ревиру, и ему померещилось, будто в этом шкафу под быстрыми пальцами хозяина, перебиравшими разные коробочки, все шевелилось и перескакивало с места на место. Комната наполнилась тенями и шепотами.

— Удивительная у вас лавка, мистер Ревир,— произнес он, радуясь знакомому звуку собственного голоса.

— Да, кое-кто так считает,— согласился Ревир, и на этот раз Лидж точно заметил в шкафу движение. Он

кашлянул.

— Скажите, что... что вот в этой бутылочке? — спросил он, чтобы сохранить ясность мыслей.

— В этой? — с улыбкой переспросил Поль Ревир и поднял бутылочку на свет.— Это я ставлю небольшой химический опыт. Вот приготовил Бостонский эликсир, так я его назвал. Но в нем много Восточного Ветра.

— Бостонский эликсир! — выпучив глаза, повторил Лидж.— Ну да, мне говорили, что вы волшебник. Это, надо понимать, настоящее волшебство?

— Разумеется, настоящее,— усмехнулся Ревир.— А вот и коробочка с мазью, которая вам нужна. И вот еще коробочка...

Он снял с полки две коробочки, одну серебряную и одну оловянную, и поставил их на прилавок. Но взгляд Лиджа притягивала серебряная коробочка, хотя почему, он и сам не знал.

— Возьмите ее в руки,— сказал Поль Ревир.

Лидж взял коробочку и осмотрел со всех сторон. Это была отличная работа, на крышке — изображение дерева и орла в поединке со львом.

— Замечательно сделано,— похвалил он.

— Мой собственный рисунок,— сказал Поль Ревир.— Видите звезды по ободку? Их тут тринадцать. Из звезд можно составить очень красивый узор — герб новой страны, например, если будет нужда,— мне это не раз приходило в голову.

— Но что там внутри? — поинтересовался Лидж.

— Что внутри? — повторил Поль Ревир, и голос его прозвучал звонко и твердо, как сталь.— Да то же самое, что и в воздухе вокруг. Порох, и война, и рождение новой нации. Но время еще не совсем приспело, еще не совсем.

— То есть эта самая революция, про которую все толкуют? — спросил Лидж, уважительно разглядывая коробочку.

— Да,— ответил Поль Ревир и хотел было еще что-то добавить. Но тут вбежал его подручный с письмом в руке.

— Хозяин! — крикнул он.— От доктора Уоррена!

IV

Ревир сразу, минуты не промедлив, начал собираться, и все вокруг закипело. Он одновременно распоряжался, чтобы ему подали сапоги для верховой езды, и наставлял Лиджа, когда ему завтра с утра явиться, так что в спешке и суматохе Лидж Баттервик чуть было не ушел без мази. Но когда Ревир уже почти вытолкал его за дверь, он все же успел прихватить с прилавка коробочку. Однако, добравшись до корчмы и улегшись в постель, обнаружил, что коробочка-то не та.

А обнаружил он это потому, что никак не мог заснуть. Не от зуба — зуб успокоился и только ныл потихоньку, такая боль сну не помеха. Но он все время вспоминал события минувшего дня — как он заметил двоих в окне у пастора Кларка, как за ним гнались английские солдаты и какими словами Ревир отбрил даму-индюшку — и не мог сомкнуть глаз. Какая-то мысль зрела у него в голове, но какая, он и сам пока не знал.

— Все-таки негоже, чтобы солдаты гонялись по улицам за людьми,— говорил он сам себе.— И негоже, чтобы такие люди, как та индюшка, заправляли в Новой Англии. Совсем негоже. Эх-хе-хе, придется, видно, попробовать мазь, что мне дал мистер Ревир.

Встал с кровати, подошел к вешалке, нашарил свой сюртук, засунул руку в карман и достал... серебряную коробочку.

Сначала его разобрала досада. Ну что тут будешь делать? Ведь в этой коробочке, запомнилось ему, заключались порох, и война, и рождение новой нации — сама революция хранилась у Ревира в серебряной коробочке. До приезда в Бостон Лидж никогда бы не поверил, что такое

бывает. Но теперь убедился.

От питья, которое ему дал Ревир, в голове у него все еще гудело, ноги по-прежнему слушались плоховато. Но как всякого смертного, его разобрало любопытство.

«Интересно бы все же заглянуть в эту коробочку»,— сказал себе Лидж Баттервик.

Он потряс ее, покрутил так и сяк, а она вроде бы потеплела у него в руках, будто внутри было что-то живое, и Лидж поспешно поставил ее на стол. Осторожно оглядел со всех сторон, нет ли где замочной скважинки, но скважинки не нашел, да и нашел бы, ключа-то у него все равно не было. Приложил ухо, прислушался — а там вроде бы слышна очень далекая пальба тысячи крохотных мушкетов и воинственные крики крошечных солдат. «Не стрелять! — словно бы услышал он.— Не стреляйте, покуда они первыми не откроют огонь! Но если они хотят войны, пусть она начнется здесь!» Застучали барабаны, взвизгнули волынки. Тихонечко так, будто издалека. Но Лидж весь прямо задрожал, он понял, что слушает будущее и что слышать это ему не положено. Он присел на край кровати, осторожно держа коробочку в ладонях.

— Что же мне теперь с этим делать? — спросил себя Лидж.— Такая задача не по плечу одному.

Мелькнула у него было со страху мысль, не пойти ли на речку да бросить коробочку в воду. Но, поразмыслив, он понял, что никогда такого не сделает. Потом он вспомнил свою ферму близ Лексингтона и прежние мирные дни. Стоит только выпустить революцию из коробочки, и всему этому конец. Но тут ему на память пришли слова Ревира, что говорил он даме насчет серебра: о строительстве новой страны и о том, чтобы строить просто и прямо. «Разве я англичанин какой-нибудь? — подумал Лидж.— Моя родина — Новая Англия. А может быть, дело даже не только в этом и есть еще кое-что, в чем разбираются такие люди, как Хэнкок и Адамс. И если для того, чтобы наступили перемены, нужна революция, значит, так тому и быть. Не вечно

же оставаться нам в этой стране англичанами».

Он снова послушал — в коробочке уже больше не слышно было стрельбы, а только играли волынки, выводя какую-то странную мелодию. Что это за музыка, Лидж не знал, но от ее звуков у него взыграло сердце.

Он поднялся словно бы нехотя с края кровати и сказал себе:

— Видно, придется найти Поля Ревира и вернуть ему эту коробочку.

Для начала он отправился к доктору Уоррену, потому что слышал это имя от Ревира. Но у доктора Уоррена он ничего не добился. Сначала ему пришлось долго убеждать тех, кто там был, что он не шпион, а потом, когда он их убедил, они только и сообщили ему, что Поль Ревир переправился через реку в Чарлстон. Он спустился на берег, чтобы нанять лодку. У реки он нашел рассерженную женщину.

— Ну нет,— сказала она ему.— Никакой лодки вы от меня не получите. Час назад здесь уже был один сумасшедший, и тоже подавай ему лодку. У моего мужа хватило глупости согласиться его перевезти. А он знаете что учинил?

— Нет, мэм,— ответил Лидж Баттервик.

— Заставил мужа изорвать на полосы мою самую нарядную юбку и обмотать весла, чтобы без всплеска пройти под бортом вон того корабля англичан.— Она показала рукой на английский фрегат «Сомерсет», стоявший на якоре.— Самую нарядную юбку! Слышите? Пусть только муж воротится, он у меня узнает!

— Его не Ревиром звали? — поинтересовался Лидж Баттервик.— Такой, немного за сорок, смотрит зорко и смахивает малость на француза.

— Как его звали, не ведаю,— отвечала женщина.— А уж я бы нашла, как его назвать. Самую мою нарядную юбку изорвать на тряпки и спустить в эту грязную реку!

И больше от нее ничего нельзя было добиться. Но

в конце концов Лидж все же как-то достал лодку — как именно, не рассказывается — и переплыл на тот берег. Начинался высокий прилив, лунный свет ярко блестел на воде, и Лидж тоже, как и Ревир, проплыл в тени под самым бортом «Сомерсета». Выйдя из лодки на Чарлстонском берегу, он увидел горящие фонари на колокольне Северной церкви, но что они означают, ему не было известно. Он сказал в Чарлстоне, что должен передать кое-что Полю Ревиру, ему дали лошадь, и он поскакал. И все время серебряная коробочка в кармане пекла ему бок.

Несколько раз в темноте ночи он, конечно, сбивался с пути и только на рассвете въехал в Лексингтон кружной дорогой. Заря в этих местах несказанно хороша, разноцветные капли росы искрятся в траве. Но Лидж не любовался зарей, он чувствовал, как печет ему бок серебряная коробочка, и напряженно думал.

Вдруг он натянул поводья своей усталой лошади: впереди из переулка вышли два человека, они несли сундук, и один из них был Поль Ревир.

Лидж Баттервик и Поль Ревир посмотрели друг на друга, и оба засмеялись. Потому что Ревир не хуже Лиджа был весь испачкан и заляпан грязью. Предупредить-то Хэнкока и Адамса он предупредил, но потом, на пути в Конкорд, был схвачен англичанами, а позже отпущен. И решил заехать обратно в Лексингтон, посмотреть, что там происходит. Теперь он вдвоем с еще одним человеком взялся спрятать сундук с бумагами Хэнкока и Адамса, чтобы не попал в руки англичан.

Лидж подъехал вплотную к Полю Ревиру и сказал:

— Видите, мистер Ревир, вы велели мне явиться насчет зуба утром, вот я и явился. А заодно и захватил тут кое-что для вас.— Он вынул из кармана серебряную коробочку. И при этом бросил взгляд вдоль переулка на городскую площадь Лексингтона. У него даже дух перехватило. На площади выстроился шеренгой небольшой отряд местной милиции — его знакомые и соседи,— а против них

стояли солдаты регулярного английского полка. И в то время как он смотрел, раздался залп, ряды англичан окутал дым, и солдаты с возгласами бросились в атаку.

Тут Лидж Баттервик выхватил из кармана серебряную коробочку, швырнул наземь и наступил каблуком. Коробочка разломалась. Что-то взблеснуло у него перед глазами, прокатился дружный возглас — и все пропало.

— Знаете, что вы сделали? — сказал ему Поль Ревир.— Вы выпустили на волю Американскую революцию!

— Что ж,— отозвался Лидж Баттервик,— выходит, что приспело время. Я, пожалуй, поеду домой. У меня дома висит ружье на стене. Оно мне понадобится.

— А как же зуб? — спросил Поль Ревир.

— Зуб — это всего-навсего зуб. А страна — это страна. Да он вроде бы и перестал.

Но все равно рассказывают, что после войны Поль Ревир сделал ему серебряный зуб. Правда, моя двоюродная бабка этого доподлинно не знала, так что поручиться не могу.

Джонни Пай и Смерть Дуракам

Сейчас про Смерть Дуракам слышишь мало, но когда Джонни Пай был мальчишкой, о нем ходило много разговоров. Одни говорили, что он вот такой из себя, другие — что вот этакий, но почти все были согласны в том, что является он то и дело. Или это Джонни Паю так казалось. Но Джонни Пай был приемыш, может быть, он потому и принимал все это всерьез.

Когда родители его умерли, мельник и его жена вызвались растить его, это они сделали доброе дело. Но только что он сменил зубы и стал вести себя как почти все мальчишки, они стали обрушиваться на него как гром, удар за ударом, а это было дело уже далеко не такое доброе. Они были хорошие люди, всегда поступали по правилам, но правила у них были ужасно строгие, и они считали, чем строже обращаться с мальчишкой, тем он вырастет умнее и лучше. Может, с некоторыми детьми это получается, но с Джонни не получилось.

Он рос смышленым и покладистым, не хуже большинства мальчишек в Мартинсвилле. Но почему-то ему никогда не удавалось сделать то, что его просили, или сказать то, чего от него ждали,— во всяком случае, у себя дома. Обращайся с мальчиком как с дураком, он и вести себя будет по-дурацки, я всегда это говорю, но некоторых людей приходится в этом убеждать. Мельник и его жена считали, что для Джонни самое милое дело — обращаться с ним как с дурачком, и добились того, что он и сам в это поверил.

И это причинило ему много горя, потому что воображение у него было мальчишеское, и было его, пожалуй, побольше, чем у других. Порку он мог перенести и переносил. Но не мог перенести того, как все шло на мельнице. Едва ли мельник задумал это загодя. Но Джонни, как себя помнил, знал, что стоит мельнику услышать о смерти кого-нибудь, кого он не любил, он скажет: «Ну вот, Смерть Дуракам пришел за таким-то» — и вроде как причмокнет губами. Это была, так сказать, семейная шутка, но мельник был крупный человек с крупным красным лицом, и слова его пугали Джонни. В конце концов он представил себе, как выглядит Смерть Дуракам. Тоже крупный мужчина, в клетчатой рубахе и плисовых штанах, и ходит по белу свету, помахивая ореховой дубинкой со свинцовым наконечником. Образ этот сложился у него совершенно отчетливо, как это вышло — не знаю, но мысленно он видел его так же ясно, как любого жителя Мартинсвилла, и время от времени он спрашивал для проверки какого-нибудь взрослого, робко спрашивал, так ли выглядит Смерть Дуракам. Они, конечно, смеялись и отвечали, что именно так. И тогда Джонни просыпался среди ночи в своей каморке над мельницей и ждал, когда на дороге послышатся шаги Смерти Дуракам и когда он наконец явится. Но никому об этом не говорить — на это у него смелости хватало.

Однако со временем терпеть дольше стало невмоготу. Он попался на какой-то ребяческой шалости — поставил жернова, чтобы мололи мелко, когда мельнику было желательно получить грубый помол,— ну, перепутал, знаете как бывает. Но заработал за это две порки — одну от мельника и одну от мельничихи, и после этого мельник сказал: «Ну вот, Джонни Пай, теперь жди: Смерть Дуракам за тобой непременно явится. В жизни не видел такого дурака». Джонни глянул на мельничиху узнать ее мнение, но она только покачала головой, и лицо у нее было серьезное. И в тот вечер он лег в постель, но не мог уснуть, потому что стоило прошелестеть ветке или скрипнуть мельнично-

му колесу, как ему уже мерещился Смерть Дуракам. И наутро, когда никто еще не вставал, он связал свои пожитки в пестрый узелок и удрал из дома.

Спастись от Смерти Дуракам надолго он не надеялся — насколько он знал, Смерть Дуракам настигает человека, куда бы тот ни подался. Но он решил — пусть хотя бы побегает для начала. И когда он вышел на дорогу, было ясное весеннее утро, и за все последнее время он не мог бы вспомнить такого покоя и мира. Поэтому теперь ему стало полегче, и он, не останавливаясь, запустил камнем в большущую лягушку, просто чтобы знали, что он — Джонни Пай и пока унывать не собирается.

Он отошел от Мартинсвилла всего на три-четыре мили, когда услышал, что следом за ним по дороге приближается шарабан. Он знал, что Смерти Дуракам, чтобы изловить человека, шарабан не нужен, и потому не испугался, а отошел на обочину, чтобы пропустить его. А шарабан остановился, и из него выглянул чернобородый мужчина в цилиндре.

— Привет, малыш,— сказал он.— Правильно я еду на Ист-Либерти?

— Меня зовут Джон Пай, и мне одиннадцать лет,— ответил Джонни вежливо, но твердо,— а на Ист-Либерти следующий поворот налево. Говорят, очень красивый город, но я там не бывал.— И он вздохнул, подумав, как ему хотелось бы повидать свет до того, как Смерть Дуракам его настигнет.

— Гм,— сказал чернобородый.— Ты, значит, тоже не здешний? И почему же такой молодец шагает один по дороге так рано?

— А-а,— протянул Джонни Пай и ответил чистую правду: — Я удрал от Смерти Дуракам. Мельник сказал, что я дурак, и жена его то же говорит, и почти все в Мартинсвилле так говорят, кроме маленькой Сюзи Марш. И еще мельник говорит, что Смерть Дуракам за мной гонится, вот я и решил сбежать, пока он не явился.

Чернобородый посидел в своем шарабане и посопел, а когда отдышался, сказал: — Лезь сюда, малыш. Мельник, может, и называет тебя дураком, а, по-моему, ты просто молодец, что решил совсем один сбежать от Смерти Дуракам. Меня провинциальные сплетни не касаются, и мальчик мне нужен смышленый, так что давай подвезу тебя.

— А Смерть Дуракам мне ничего не сделает, если я буду с вами? — спросил Джонни.— А то, может, не стоит?

— Ничего не сделает? — сказал чернобородый и опять засопел.— Нет, такой опасности не будет. Ты понимаешь, я лекарь, травник, и некоторые считают, что я и сам занимаюсь тем же делом, что и Смерть Дуракам. А тебя я обучу такому ремеслу, что вдвое выгоднее мельничного.

— Вас послушать, очень получается хорошо, но меня зовут Джонни Пай.— И он влез в шарабан. И они покатили к Ист-Либерти, и лекарь болтал и шутил, так что Джонни подумалось, что такого интересного человека он сроду не видывал. Не доезжая до Ист-Либерти примерно полумили, лекарь остановился у какого-то родника.

— Зачем мы тут остановились? — спросил Джонни Пай.

— Погоди, сейчас узнаешь,— отвечал лекарь и подмигнул ему. Потом из задка шарабана достал войлочный мешок, полный пустых пузырьков, и велел Джонни набрать в них воды из родника и наклеить этикетки. Потом в каждый пузырек добавил щепотку розового порошка, взболтал их, заткнул пробками и убрал.

— Это что? — спросил Джонни, широко раскрыв глаза.

— Это,— отвечал лекарь, читая этикетку,— «несравненное универсальное средство старого доктора Уолдо. Изготовлено из чистейшего змеиного масла и тайных индейских трав, излечивает ревматизм, вертячку, головную боль, малярию, пять видов припадков и мухи перед глазами. Также снимает пятна от растительного масла и жира, чистит ножи и серебро, полирует медные части и рекомендуется как общее укрепляющее средство и очиститель

крови. Малый пузырек — один доллар, большой, на семью,— два с половиной доллара».

— Но я не вижу в нем никакого змеиного масла,— сказал Джонни слегка растерянно,— и никаких тайных индейских трав.

— А это потому, что ты не дурак.— И лекарь опять подмигнул.— Смерть Дуракам тоже бы не увидел. Но почти все люди видят.

И в тот же вечер Джонни увидел. Ибо лекарь открыл торговлю в Ист-Либерти, и очень получилось красиво. Он взял два горящих факела и воткнул их в землю по обе стороны шарабана; надел бриллиантовые запонки, показывал карточные фокусы и рассказывал смешные анекдоты, так что у всех прямо глаза на лоб полезли. А Джонни велел играть на тамбурине. Потом заговорил об универсальном средстве доктора Уолдо, и с помощью Джонни пузырьки стали распродаваться, как горячие пирожки. Позже Джонни помог ему сосчитать деньги, их оказалась целая гора.

— Н-да,— сказал Джонни,— никогда я не видел, чтобы деньги доставались легче. Хорошее у вас ремесло, мистер лекарь.

— Это все сноровка,— сказал лекарь и похлопал Джонни по спине.— Дурак готов жить в одном и том же месте и делать одно и то же дело и тем доволен, но заправского уличного торговца Смерть Дуракам еще ни разу не изловил.

— Да, это мне повезло, что я вас встретил,— сказал Джонни.— И раз дело в сноровке, я не я буду, если не выучусь этому ремеслу.

И он оставался с лекарем довольно долго, пока не научился приготовлять лекарство и показывать карточные фокусы почти так же хорошо, как его учитель. И лекарь любил Джонни, потому что Джонни был мальчик послушный. Но однажды вечером они приехали в городок, где дело у них пошло не как обычно. Толпа собралась как

обычно, и лекарь стал показывать свои фокусы. Но все время Джонни видел, что в толпе снует какой-то востролицый человек и что-то нашептывает то тому, то другому. А когда у лекаря его рекламная речь была в самом разгаре, этот востролицый вдруг закричал: «Это он! Я эту бороду где хочешь узнаю!» — после чего толпа взревела и стала выдирать планки из ближайшего забора. Следующее, что запомнил Джонни, это что его и лекаря выносят из города, посадив на шест, и длинные лекаревы фалды взлетают на каждом ухабе.

Джонни они пожалели, ведь он был еще маленький, но обоих предупредили, чтобы ноги их в этом городе больше не было, а затем вышвырнули лекаря в заросли чертополоха и разошлись по своим делам.

— У-ух! — сказал лекарь.— О-ох! — Это когда Джонни помогал ему выбраться из зарослей чертополоха.— Ты там поаккуратней с этими шишками. И что ж ты не шухарнул, дурачок несчастный?

— Не шухарнул? — сказал Джонни.— Это как?

— Когда этот востролицый стал возле нас ошиваться. То-то эта чертова Главная улица показалась мне знакомой. Я здесь был два года назад, продавал часы из чистого золота по доллару штука.

— Но в часах из чистого золота один механизм стоит дороже,— сказал Джонни.

— Никаких механизмов там не было,— простонал лекарь,— просто в каждом корпусе сидел премиленький жучок и тикал так, что любо-дорого слушать.

— Да, конечно, это была умная мысль,— сказал Джонни.— Я бы нипочем не додумался.

— Умная? — сказал лекарь.— Это меня и сгубило, но кто бы подумал, что эти дураки два года будут таить обиду? А теперь мы потеряли и лошадь и шарабан, не говоря уже о пузырьках и выручке. Ну да ладно, в запасе у меня еще много фокусов, начнем сначала.

Но как ни любил Джонни лекаря, тут им овладели

сомнения. Ему пришло в голову, что раз у того хватило ума только на то, чтобы его вынесли из города на шесте, значит, Смерть Дуракам не так далеко, как он думал. И в самом деле, когда он в тот вечер ложился спать, ему послышались шаги Смерти Дуракам — топ, топ, топ — за ним! Он завязал уши курткой — не помогло. И когда лекарь приготовился снова открыть торговлю, они с Джонни расстались. Лекарь не держал на него зла, пожал ему руку и велел помнить, что сноровка — великая сила. И Джонни продолжал удирать.

В одном городе за стеклом лавки была прикреплена записка: «Требуется мальчик», и он зашел туда. И верно, за столом сидел купец в черном костюме тонкого сукна, очень нарядный и важный.

Джонни завел разговор про Смерть Дуракам, но это купца не заинтересовало. Он пригляделся к Джонни, увидел, что малый на вид покладистый и для своих лет сильный. «Но помни, мальчик, без дураков»,— сказал он строго, после того как нанял его.

— Без дураков? — переспросил Джонни, и глаза его засветились надеждой.

— Вот именно,— ответил купец многозначительно.— В нашем деле нам дураки не нужны. Работай как следует и пойдешь в гору. А если есть у тебя какие-нибудь дурацкие фантазии, ударь их по голове и забудь о них.

Ну, это Джонни пообещал с удовольствием, и прожил он у купца полтора года. Подметал лавку, отворял и затворял вовремя ставни, бегал с поручениями, заворачивал пакеты и научился быть занятым по двенадцать часов в день. И так как был он мальчик покладистый и честный, он пошел в гору, как и предсказал купец. Купец повысил ему жалованье и разрешил понемножку обслуживать покупателей и заниматься бухгалтерией. И однажды ночью Джонни проснулся, и ему послышались сперва далеко, а потом все ближе шаги Смерти Дуракам, которые догоняли, догоняли его.

Утром он пришел к купцу и сказал: — Простите, сэр, что приходится вам об этом сообщить, но мне надо двигаться дальше.

— Жаль это слышать, Джонни,— сказал купец,— мальчик ты хороший. А если дело в оплате...

— Нет, дело не в этом,— сказал Джонни.— Но скажите мне одну вещь, сэр, и простите, что спрашиваю. Вот остался бы я у вас, скажите, чем бы я кончил?

Купец улыбнулся.— Вопрос не из легких, по части комплиментов я не силен. Но я и сам начинал мальчиком, подметал лавку. А ты малый сообразительный и еще многому мог бы научиться. Если бы не бросил дела, не знаю, почему бы тебе не достигнуть такого же успеха, как я.

— Какого же именно? — спросил Джонни.

Выражение у купца стало раздраженное, но улыбаться он не перестал.

— Так вот,— сказал он.— Я человек не хвастливый, но могу сообщить тебе следующее. Десять лет назад я был самым богатым человеком в городе, пять лет назад — в округе. А через пять лет, понимаешь ли, намерен быть самым богатым человеком в штате.

Глаза его при этом как будто сверкнули, но Джонни смотрел на его лицо. Лицо было желтое, одутловатое, а челюсть твердая как камень. И в эту минуту Джонни пришло в голову, что хотя он знал этого купца полтора года, он ни разу не видел, чтобы тот радовался, разве что когда успешно заканчивал сделку.

— Простите, сэр,— сказал он,— но если так, мне действительно пора уходить. Я ведь, понимаете, удираю от Смерти Дуракам, и если бы я остался и стал таким, как вы, он бы поймал меня, я бы и оглянуться...

— Ах ты нахальный щенок! — взорвался купец, и лицо его побагровело.— Расчет получи у кассира.— И не успел Джонни оглянуться, как уже опять был на дороге. Но теперь он привык к таким вещам и на этот раз шел посвистывая.

Ну, после этого он нанимался к разным людям, но всех его похождений я описывать не стану. Одно время работал у изобретателя, и они разошлись, потому что Джонни ненароком спросил его, какая будет польза от его патентованной самозаводящейся машины вечного движения, когда он ее изобретет. И пока изобретатель говорил всякие слова об усовершенствовании рода человеческого и о красотах науки, стало ясно, что ответить он не может. В ту же ночь Джонни услышал шаги Смерти Дуракам далеко, а потом все ближе и наутро ушел. Потом пожил недолго у священника, и от него уходить очень не хотелось, потому что священник был добрый человек. Но как-то вечером они разговорились, и Джонни между прочим спросил его, что случается с людьми, которые верят не так же, как он. Священник был человек широких взглядов, но на этот вопрос ответ имеется только один. Он признал, что это, возможно, люди честные, признал даже, что они и не попадут прямо в ад, но впускать их в рай он не мог, даже самых добрых и умных, ибо есть правила, подробно перечисленные вероучением и церковью, и, если ты их не придерживаешься, нет тебе в рай дороги.

Так Джонни пришлось уйти от него, и после этого он некоторое время провел со старым пьяницей скрипачом. Думаю, что он не был хорошим человеком, но играл так, что у слушающих слезы лились из глаз. И когда он так играл, Джонни казалось, что Смерть Дуракам очень далеко. Ибо, пока он играл, несмотря на его грехи и слабости, в нем была сила. Но как-то ночью он умер пьяный в канаве, и Джонни держал на коленях его голову, и хотя он завещал Джонни свою скрипку, пользы от нее было мало. Кое-какие мотивы Джонни мог сыграть, но так, как играл тот скрипач,— нет, этого у него не было в пальцах.

А потом он каким-то образом попал в солдаты. Не был призван, для этого ему еще возраст не вышел, но он стал всеобщим любимцем, и сначала все шло прекрасно. Ка-

питан там был самый храбрый человек, какого Джонни видел в жизни, и на все вопросы знал ответы из устава и военного кодекса. Но потом они отправились на Запад воевать с индейцами, и тут опять проклюнулись старые неприятности. Однажды вечером капитан сказал ему: «Джонни, мы завтра идем биться с врагом, а ты останешься в лагере».

— Ой, я не хочу,— сказал Джонни.— Я тоже хочу биться.

— Это приказ,— отрезал капитан и дал Джонни какие-то указания и письмо — отвезти его жене.

— Полковник у нас — дурак набитый,— сказал он,— и путь наш лежит прямо в засаду.

— Почему же вы это ему не сказали? — спросил Джонни.

— Говорил,— сказал капитан,— но он полковник.

— Пусть хоть десять раз полковник,— сказал Джонни,— раз он дурак, кто-то должен остановить его.

— В армии так не положено,— сказал капитан.— Приказ есть приказ.

Но оказалось, что капитан ошибся: на следующий день, еще до того как им выступить, напали индейцы и были расколошмачены. Когда все кончилось, капитан заметил вполне профессионально: «Хорошо дрались. Правда, если б они подождали и устроили засаду, они бы сняли с нас скальпы. Но так — никаких шансов у них не было».

— А почему они не устроили засаду? — спросил Джонни.

— Да как тебе сказать — скорее всего они тоже получили приказ. Ну, а теперь скажи, хочешь быть солдатом?

— Жизнь эта хорошая, вся на свежем воздухе, но мне надо еще подумать,— сказал Джонни. Он уже знал, что капитан его — храбрый человек, и знал, что индейцы дрались храбро,— не найти было двух противников храбрее. И все же, когда он это обдумывал, он будто слышал в небе шаги. И он прослужил до конца похода, а потом уволился

из армии, хотя капитан и твердил ему, что он делает ошибку.

Теперь он, конечно, уже не был маленьким мальчиком, он превратился в молодого мужчину и мысли и чувства у него были как у молодого мужчины. И он все реже вспоминал Смерть Дуракам и то всего лишь как сон, который ему приснился в детстве. Иногда он даже посмеивался и думал, какой же он был дурак, что верил в его существование.

И все-таки желание его не было утолено, и что-то гнало его вперед. Теперь он назвал бы это честолюбием, но по существу это было то же самое. И какое бы он ни пробовал новое ремесло, рано или поздно ему снился сон про крупного мужчину в клетчатой рубахе и плисовых штанах, что бродит по свету, держа в одной руке ореховую дубинку. Теперь этот сон сердил его, но имел над ним какую-то странную власть. Так что когда ему было лет двадцать, он вдруг стал бояться. «Есть там Смерть Дуракам или нет,— подумал он,— я должен это дело распутать. В жизни должно быть что-то одно, чего человек должен держаться и быть уверен, что он не дурак. Я уже пробовал сноровку, и деньги, и еще с десяток других вещей, но ответа в них не нашел. Попробуем теперь книжную премудрость, поглядим, что из этого выйдет».

И он стал читать все книги, какие мог найти, и как только слышал шаги Смерти Дуракам, когда тот добирался до авторов — а случалось это часто,— старался заткнуть себе уши. Но одни книги советовали одно, а другие другое, и он не знал, что выбрать.

«Да,— подумал он, когда прочел столько, что голова его оказалась набита книжной премудростью, как сосиска мясом,— это очень интересно, но по большей части уже устарело. Поеду-ка я в Вашингтон и посоветуюсь там с умными людьми. Сколько же нужно мудрости, чтобы править такой страной, как Соединенные Штаты. И если

где-нибудь могут ответить на мои вопросы, так только там».

И он уложил чемодан и отправился-таки в Вашингтон. Для своих лет он был еще стеснительный и не ставил себе задачи сразу повидать президента. Он решил, что ему в самую пору придется конгрессмен. И он повидал конгрессмена, а тот сказал ему, что самое лучшее — стать примерным молодым американцем и голосовать за кандидата-республиканца, что Джонни понравилось, хотя и не вполне отвечало его надеждам.

Тогда он пошел к одному сенатору, и тот посоветовал ему быть примерным молодым американцем и голосовать за демократов, что ему тоже понравилось, но тоже не отвечало его надеждам. И хотя оба они держались внушительно и доброжелательно, одновременно с их речами ему слышались шаги... ну, какие шаги — вы знаете.

Но человеку, чем бы он еще ни занимался, нужно есть, и Джонни понял, что не мешает ему затянуть потуже пояс и поискать работу. И получил он работу у того первого конгрессмена, к которому явился, потому что тот был избран от Мартинсвилла, поэтому Джонни к нему первому и обратился. И вскоре он забыл про свои поиски, да и про Смерть Дуракам, потому что к конгрессмену приехала погостить его племянница и оказалась той самой Сюзи Марш, с которой Джонни Пай сидел когда-то рядом в школе. Тогда она была хорошенькая, а теперь еще похорошела, и как только Джонни ее увидел, сердце его екнуло и заколотилось.

— И не думай, пожалуйста, Джонни Пай, что мы тебя забыли,— сказала она, когда дядюшка объяснил ей, кто его новый секретарь.— Напишу домой, там весь город переполошится. Мы все про тебя знаем, и как ты убивал индейцев, и изобретал вечное движение, и ездил по стране со знаменитым лекарем, и нажил состояние на галантерее и... ох, удивительная это история!

— Знаешь ли,— сказал Джонни и закашлялся,— кое-

что здесь чуть-чуть преувеличено. Но ты умница, что заинтересовалась. Значит, в Мартинсвилле меня уже не считают дураком?

— Я тебя никогда дураком не считала,— сказала Сюзи с улыбкой, и Джонни почувствовал, как сердце у него снова екнуло.

— А я всегда знал, что ты хорошенькая, но до чего ты красива, узнал только сейчас,— сказал Джонни и снова закашлялся.— Ну, а раз вспомнили прежнее время, расскажи, как там мельник и его жена. Я тогда сбежал от них неожиданно, виноваты были обе стороны, им со мной тоже было не сладко.

— Они оба скончались,— сказала Сюзи Марш.— Теперь там новый мельник. Но его, сказать по правде, не очень любят, и мельницу он запустил.

— Жаль,— сказал Джонни,— справная была мельница.— И продолжал расспрашивать, а она тоже много чего вспоминала. Ну, знаете, как бывает, когда двое молодых так разговорятся.

Джонни Пай никогда не работал так старательно, как в ту зиму. И думал он не о Смерти Дуракам, а о Сюзи Марш. То ему казалось, что она его любит, а то был уверен, что нет, а потом колебался, мешался и путался. Но в конце концов все обернулось отлично, она дала слово, и Джонни понял, что он — счастливейший человек на свете. И в ту ночь он проснулся и услышал, что его догоняет Смерть Дуракам — топ, топ, топ.

После этого он почти не спал и к завтраку спустился весь осунувшийся. Но будущий дядюшка не заметил этого, он потирал руки и улыбался.

— Надень самый лучший галстук,— сказал он превесело,— у меня нынче назначен разговор с президентом, и я, чтобы показать, что одобряю выбор моей племянницы, решил взять тебя с собой.

— К президенту? — выдохнул ошарашенный Джонни.

— Да,— ответил конгрессмен Марш.— Там, понимаешь,

есть один законопроект... впрочем, это пока оставим. Но ты принарядись, Джонни, сегодня Мартинсвилл будет нами гордиться.

И тут у Джонни как гора с плеч свалилась. Он стиснул руку мистера Марша.

— Благодарю вас, дядя Эбен! Не знаю, как вас и благодарить.

Наконец-то он увидит человека, которому Смерть Дуракам не страшен, и ему уже казалось, что если это хоть раз случится, все его неприятности и метания будут позади.

Ну-с, какой это был президент — не важно, поверьте мне на слово, что он был президент и выглядел соответственно. И он совсем недавно был избран, поэтому старался вовсю, и следы щелчков, которые ему предстояло получить от конгресса, еще даже не были видны. В общем, он сидел в своем кресле, и Джонни им любовался. Ибо если и был во всей стране человек, к которому Смерть Дуракам не мог подступиться, то именно так он должен был выглядеть.

Президент и конгрессмен побеседовали немножко о политике, а потом наступила очередь Джонни.

— Ну, молодой человек,— сказал президент любезно,— чем могу быть вам полезен? На вас посмотреть — вы мне кажетесь прекрасным, прямо-таки примерным молодым американцем.

Конгрессмен поспешил вмешаться, не дав Джонни и рта раскрыть.

— Дайте ему просто совет, господин президент,— сказал он.— Просто своевременный совет. Понимаете, мой юный друг вел до сих пор жизнь, полную приключений, а теперь он решил жениться на моей племяннице и остепениться. И больше всего ему сейчас нужно услышать от вас слово зрелой мудрости.

— Что ж,— сказал президент и вгляделся в Джонни повнимательнее,— если это все, что ему нужно, небольшую лошадку почистить недолго. Хорошо бы всем, кто ко мне

приходит, требовалось так мало.

И все же он заставил Джонни заговорить, такие люди это умеют, и Джонни сам не заметил, как стал рассказывать ему свою биографию.

— Да,— сказал президент, когда он кончил,— лежачим камнем вас не назовешь. Но в этом ничего плохого нет. И для человека с таким разнообразным опытом, как у вас, мне ясно представляется одна-единственная карьера. Политика! — произнес он и стукнул правым кулаком по левой руке.

— Что ж,— сказал Джонни и почесал в затылке,— я, с тех пор как приехал в Вашингтон, думал об этом. Да вот не знаю, гожусь ли я на это дело.

— Речь написать ты можешь,— сказал конгрессмен Марш задумчиво.— Ты мне с моими речами сколько раз помогал. И вообще малый ты симпатичный. И родился в бедности, и сам из бедности поднялся, и даже воинские заслуги у тебя имеются. Да что там, черт возьми,— вы уж меня извините, господин президент,— он и сейчас стоит пятьсот голосов.

— Я... вы, джентльмены, мне льстите,— сказал Джонни, сконфуженный и польщенный,— но вот займусь я политикой, чем же я кончу?

У президента выражение сделалось скромное.

— Быть президентом Соединенных Штатов,— сказал он,— это законная мечта любого американского гражданина. Если, конечно, его изберут.

— Да-а,— протянул Джонни, и у него даже в глазах потемнело.— Об этом я и не думал. Да, это великое дело. Но и ответственность, наверно, немалая.

— Правильно,— сказал президент и стал очень похож на свои предвыборные снимки.

— Да, ответственность, должно быть, ужасающая — даже не знаю, как простой смертный может ее выдержать. Скажите, господин президент, можно задать вам вопрос?

— Разумеется,— ответил президент, и он выглядел

более гордым и более ответственным и с каждой минутой делался все более похож на свои предвыборные портреты.

— Так вот,— сказал Джонни,— вопрос как будто дурацкий, но дело вот в чем. Страна у нас большущая, господин президент, и живет в ней пропасть самых разных людей. Как может президент угодить всем этим людям одновременно? Вы, например, можете, господин президент?

На минуту президент как будто опешил. Но потом устремил на Джонни взгляд государственного мужа.

— С помощью божией,— произнес он торжественно,— и согласно с принципами нашей великой партии я намерен...— Но конца этой фразы Джонни даже недослышал. Президент еще говорил, а Джонни услыхал за дверью, в коридоре, шаги, и почему-то он знал, что шаги это не секретаря и не сторожа. Он порадовался, что президент сказал «С помощью божией», от этого шаги как будто стали легче. И когда президент умолк, Джонни поклонился.

— Благодарю вас, господин президент, вот это мне и хотелось узнать. А теперь поеду-ка я лучше домой в Мартинсвилл.

— Домой в Мартинсвилл? — удивился президент.

— Да, сэр,— сказал Джонни.— Думаю, что для политики я не гожусь.

— И больше тебе нечего сказать президенту Соединенных Штатов? — вскипел будущий дядюшка.

Но президент тем временем задумался, а человек он был покрупнее, чем конгрессмен Марш.

— Минутку, конгрессмен,— сказал он.— Этот молодой человек хотя бы честный и с виду мне нравится. К тому же из всех, кто приходил ко мне за последние полгода, он единственный ничего не просил, он да еще кошка в Белом доме, но ей, мне кажется, тоже что-то было нужно, потому что она мяукала. Вы не хотите быть президентом, молодой человек, и, сказать вам по секрету, я вас не осуждаю. Но не хотите ли вы стать почтмейстером в Мартинсвилле?

— Почтмейстером в Мартинсвилле? — сказал Джонни.— Но...

— Да, почта там захудалая,— сказал президент,— но это я раз в жизни сделаю что-то потому, что хочу. И пусть там конгресс кричит и плачет. Ну как, да или нет?

Джонни подумал о всех местах, где побывал, о всех ремеслах, какие перепробовал. Как ни странно, вспомнился ему старый пьяный скрипач, что умер в канаве, но им он не мог бы стать, это он знал. А больше всего он думал о Мартинсвилле и о Сюзи Марш. И хотя только что слышал шаги Смерти Дуракам, он вызвал его на бой.

— Да,— сказал он,— конечно. Тогда я смогу жениться на Сюзи.

— Лучшей причины вам и не сыскать,— сказал президент.— Одну минуту, сейчас напишу записку.

И он сдержал слово, и Джонни женился на своей Сюзи, и они уехали жить в Мартинсвилл. И Джонни, как только постиг премудрость почтмейстерства, убедился, что ремесло это не хуже других. Почты в Мартинсвилл приходило немного, а в свободное время он заправлял мельницей, и это тоже было хорошее ремесло. И все время, чем бы он ни был занят, он знал, что еще не до конца расквитался со Смертью Дуракам. Но это его не очень волновало, потому что и он и Сюзи были счастливы. А через какое-то время у них родился ребенок, и такого чуда еще не случалось ни у одной молодой пары, хотя врач утверждал, что младенец совершенно нормальный.

Однажды вечером, когда его сынишке было год или около того, Джонни пошел домой вдоль реки. Дорога эта была чуть дальше, чем вéрхом, но там чувствовалась вечерняя прохлада, и бывают минуты, когда человеку хочется побыть одному, как бы он ни любил свою жену и ребенка.

Он думал о том, как все для него обернулось, и это казалось ему удивительным и странным, как бывает с людьми, когда они вспоминают свое прошлое. И думал

он так старательно, что чуть не споткнулся о старого точильщика, который пристроил свой станок и инструменты возле самой дороги. У точильщика и тележка была рядом, но лошадь он выпряг и пустил пощипать травку, и очень это была тощая и старая белая лошадь, все ребра наружу. И он был очень занят, оттачивал косу.

— Ох, простите,— сказал Джонни Пай,— я и не знал, что кто-то здесь стал лагерем. Но вы, может быть, завтра зайдете ко мне домой, у моей жены несколько ножей затупились.

И прикусил язык, потому что старик поглядел на него очень пристально.

— Да это ты, Джонни Пай,— сказал старик.— Ну, как поживаешь, Джонни Пай? Долго же ты не приходил. Я несколько раз думал, что придется за тобой сходить. Но вот ты наконец и явился.

Джонни Пай был теперь взрослый, но тут он задрожал.

— Но это не вы! — воскликнул он.— Я хочу сказать — вы не он. Я всю жизнь знал, какой он с виду! Он крупный мужчина в клетчатой рубахе и в руке ореховая дубинка со свинцовым наконечником.

— О нет,— сказал точильщик безмятежно.— Ты, может быть, такого меня выдумал, но я не такой.— И Джонни Пай услышал, как коса — вжик, вжик — вжикает по точилу. Старик смочил ее водой и вгляделся в лезвие. Потом покачал головой, как будто еще не вполне довольный, а потом спросил: — Ну как, Джонни, ты готов?

— Готов? — спросил Джонни хрипло.— Конечно, нет.

— Это они все так говорят,— сказал старик, кивая головой, и коса опять заходила по точилу — вжик, вжик.

Джонни вытер лоб и стал рассуждать.

— Понимаете, если бы вы нашли меня раньше,— сказал он.— Или позже. Я не хочу поступать неразумно, но у меня жена и ребенок.

— У всех есть жены, а у многих и дети,— сказал точильщик сердито и нажал на педаль так, что коса завжи-

кала по точилу. И взметнулись вверх искры, очень яркие и чистые, потому что уже начало темнеть.

— Да прекратите вы этот чертов шум, дайте человеку подумать,— разозлился Джонни.— Говорю вам, я не могу идти. И не пойду. Еще не время. Сейчас...

Старик остановил станок и указал косой на Джонни Пая.

— Дай мне хоть одну разумную причину,— сказал он.— Есть люди, о которых можно пожалеть. Но разве ты из их числа? Об умном человеке можно пожалеть, но разве ты умный человек?

— Нет,— сказал Джонни и вспомнил лекаря-травника.— Мне было где ума набраться, но я не захотел.

— Раз,— сказал старик и загнул один палец.— Ну, некоторые люди могут пожалеть о богатом. Но ты, как я понимаю, не богат.

— Нет,— подтвердил Джонни и вспомнил купца.— И не захотел разбогатеть.

— Два,— сказал старик.— Ум, богатство — это побоку. Но есть еще солдатская храбрость, геройство. Будь они у тебя, тогда еще было бы о чем рассуждать.

Джонни Пай вспомнил, как выглядело поле боя на Западе, когда все индейцы были мертвы и сражение кончилось.

— Нет,— сказал он.— Я воевал, но я не герой.

— Ну так есть еще религия,— произнес старик вроде как терпеливо.— И наука и... но что толку? Мы знаем, как ты разделался с ними. Я мог бы, пожалуй, почувствовать сожаление, если бы речь шла о президенте Соединенных Штатов. Но...

— Ох, вы же знаете, что я не президент,— простонал Джонни.— Можно бы, кажется, с этим покончить.

— Неважно ты строишь свои доводы,— сказал старик, покачивая головой.— Удивляешь ты меня, Джонни. Все детство и юность удирал, лишь бы не стать дураком. А чуть вырос во взрослого мужчину, с чего начал? Женился, поселился в родном городе и растишь детей, понятия

не имея, что из них выйдет. Тогда-то мог бы сообразить, что я тебя догоню,— просто сам мне в руки дался.

— Может, я и дурак,— сказал измученный Джонни Пай,— но если так считать, мы все, наверно, дураки. Но Сюзи — моя жена, и мой сын — мой сын. А что до работы — кому-то надо быть и почтмейстером, а то люди не получали бы почты.

— А если б не получали, это было бы очень важно? — спросил старик, оттачивая кончик косы.

— Да нет, едва ли, если судить по тому, что пишут в открытках,— сказал Джонни Пай.— Но пока сортировать почту — мое дело, и я буду сортировать ее как можно лучше.

Старик так полоснул свою косу, что искры дождем полились на траву.— Вот-вот,— сказал он.— У меня тоже есть работа, и я ее делаю точно так же. Но сейчас я поступлю по-другому. Ты, безусловно, приближаешься ко мне, но небольшая проверка — и выходит, что ты еще немножко не дозрел. Поэтому я дам тебе краткую отсрочку. Если уж на то пошло,— добавил он,— ответь мне на один вопрос — как можно быть человеком и притом не быть дураком,— и я отпущу тебя без всяких сроков. Это будет первый случай в истории, но раз в жизни можно и рискнуть. А теперь можешь идти, Джонни Пай.

И он стал точить косу, так что искры полетели, как хвост кометы, а Джонни Пай пошел прочь. И никогда еще приречная прохлада не казалась ему такой сладкой.

И все же, хоть он испытал облегчение, он не совсем забыл, и порой Сюзи приходилось напоминать детям, чтобы не мешали отцу, потому что он думает. Но время шло, и довольно скоро Джонни Пай спохватился, что ему сорок лет. В молодости он никогда не думал, что доживет до сорока, и это его вроде как удивило. Но что поделать, от фактов не уйти, хоть он и не мог бы сказать, что чувствует себя по-новому, разве только изредка, когда нагибается. И был он надежный гражданин, любимый и уважаемый,

с растущим семейством и с прочным положением в обществе, и когда он думал об этом, это тоже удивляло его. Но вскоре стало привычно, словно так было всегда.

Лишь после того как его старший сын утонул на рыбалке — вот когда Джонни Пай снова встретил точильщика. Но в это время он был озлоблен и сам не свой от горя и если бы мог добраться до старика, уж верно лишил бы его жизни. Но почему-то, когда он попробовал с ним схватиться, ему показалось, что он хватает только воздух и туман. Он видел, как летят искры от косы, но даже коснуться точила не мог.

— Трус ты несчастный! — сказал Джонни Пай.— Выходи драться как мужчина! — Но старик только кивнул головой, а точило все вертелось и вертелось.— Почему ты не забрал меня? — сказал Джонни Пай, как будто до него никто не говорил этих слов.— Какой в этом смысл? Почему не можешь забрать меня сейчас?

И попробовал вырвать косу из рук у старика, но не мог коснуться точила. И тогда он упал на траву и затих.

— Время проходит,— сказал старик и тряхнул головой.— Время проходит.

— Никогда оно не вылечит горя, каким я горюю о сыне,— сказал Джонни Пай.

— Правильно,— сказал старик и кивнул головой.— Но время проходит. Ты что же, ради своего горя готов оставить жену вдовой, а остальных детей без отца?

— Нет,— сказал Джонни.— Честное слово, нет. Это было бы грешно.

— Тогда иди домой, Джонни Пай,— сказал старик, и Джонни пошел, но на лице его появились морщины, которых раньше не было.

А время проходило, как течет река, и дети Джонни Пая поженились и повыходили замуж, и были у них теперь свои дома и дети. А у Сюзи волосы побелели и спина согнулась, и когда Джонни и его дети провожали ее в могилу, люди говорили, что она скончалась, когда про-

бил ее час, но поверить в это Джонни было трудно. Просто люди не говорили так ясно, как раньше, и солнце не грело так жарко, и он, случалось, еще до обеда засыпал в своем кресле.

И однажды, уже после смерти Сюзи, через Мартинсвилл проезжал тогдашний президент, и Джонни Пай пожал ему руку, и в газете появилась заметка, что он пожал руку двум президентам, одному через полвека после другого. Джонни Пай вырезал эту заметку и носил ее в бумажнике. Этот президент ему тоже понравился, но, как он и говорил знакомым, куда ему было до того, который правил пятьдесят лет назад. Впрочем, чего же было и ждать, нынче президенты пошли такие, что их и президентами не назовешь. И все же та газетная вырезка очень его радовала.

На нижнюю дорогу он почти перестал ходить — не то, конечно, чтобы прогулка была слишком длинная, а просто редко туда тянуло. Но однажды он улизнул от внучки, которая за ним ухаживала, и пошел. И крутая же оказалась дорога — он и не помнил, до чего она крутая.

— Ну, здравствуй, Джонни Пай,— сказал точильщик,— как поживаешь?

— Говорите, пожалуйста, погромче,— попросил Джонни Пай.— Слух у меня превосходный, но люди стали говорить не так четко, как раньше. Вы не здешний?

— Ах, вот, значит, как обстоит дело,— сказал точильщик.

— Да, вот так и обстоит,— сказал Джонни Пай. Он надел очки, вгляделся в старика и почувствовал, что его следует бояться, но почему — хоть убей, не мог вспомнить.— Я знаю, кто вы такой,— сказал он чуть раздраженно,— на лица у меня память замечательная. И ваше имя так и вертится на языке...

— Насчет имен не волнуйся,— сказал точильщик.— Мы с тобой старые знакомые. И много лет назад я задал тебе вопрос — это ты помнишь?

— Да,— сказал Джонни Пай.— Помню.— И засмеялся

скрипучим стариковским смехом.— И из всех дурацких вопросов, какие мне задавали, этот, безусловно, стоит на первом месте.

— Правда? — сказал точильщик.

— Ага,— усмехнулся Джонни.— Вы ведь спросили меня, как можно быть человеком и при этом не быть дураком. И ответ, вот он: когда человек умрет и его похоронят. Это каждый дурак знает.

— В самом деле? — сказал точильщик.

— Конечно,— сказал Джонни Пай.— Мне ли не знать. Мне в ноябре стукнет девяносто два года, и я пожимал руку двум президентам. Первому...

— Про это расскажешь, я с интересом послушаю, но сначала маленький деловой разговор. Если все люди дураки, как же земля-то движется?

— Ну, мало ли чего нет на свете,— сказал Джонни, теряя терпение.— Есть люди храбрые, и мудрые, и сноровистые, им удается иногда двинуть ее вперед, хотя бы на дюйм. Но там все перепутано. Да господи боже мой, еще в самом начале только какой-нибудь дурак полез бы из моря на сушу — либо был выкинут из рая, если так вам больше нравится. Нельзя верить в то, как люди себя воображают, надо судить по делам их. И я не ставлю высоко человека, которого в свое время люди не считали бы дураком.

— Так,— сказал точильщик,— ты ответил на мой вопрос, во всяком случае, насколько это тебе по силам. Большего от человека ждать не приходится. Поэтому и я выполню свое обязательство по нашей сделке.

— Какое же именно? — сказал Джонни.— Все вместе я помню отлично, но некоторые подробности как-то забылись.

— Ну как же,— сказал точильщик обиженно,— я же обещал отпустить тебя, старый ты дурак! Ты меня больше не увидишь до Страшного суда. Там, наверху, это вызовет неприятности,— добавил он,— но хоть изредка могу я по-

ступить так, как хочу?

— Уф,— сказал Джонни Пай.— Это надо еще обдумать.— И почесал в затылке.

— Зачем? — спросил точильщик, явно задетый за живое.— Не так часто я предлагаю человеку вечную жизнь.

— Ну да,— сказал Джонни Пай,— это с вашей стороны очень любезно, но, понимаете, дело обстоит так.— Он подумал с минуту.— Нет, вам не понять. Но вам не дашь больше семидесяти лет, а от молодых и ждать нечего.

— А ты меня проверь,— предложил точильщик.

— Ну хорошо,— сказал Джонни,— дело, значит, обстоит так,— и он опять почесал в затылке.— Предложи вы мне это сорок, даже двадцать лет назад... а теперь... Возьмем одну небольшую деталь, скажем — зубы.

— Ну конечно,— сказал точильщик.— Естественно. Не ждешь же ты от меня помощи в этом отношении.

— Так я и думал,— сказал Джонни.— Понимаете, эти зубы у меня хорошие, покупные, но очень надоело слушать, как они щелкают. И с очками, наверно, то же самое?

— Боюсь, что так,— ответил точильщик.— Я ведь, знаешь, со временем не могу сладить, это вне моей компетенции. И по чести говоря, трудно ожидать, чтобы ты, скажем, в сто восемьдесят лет остался совсем таким же, каким был в девяносто. И все-таки ты был бы ходячее чудо.

— Возможно,— сказал Джонни Пай,— но понимаете, я теперь старик. Поглядеть на меня — не поверишь, но это так. И мои друзья — нет их больше, ни Сюзи, ни мальчика,— а с молодыми не сходишься так близко, как раньше, не считая детей. И жить, и жить до Страшного суда, когда рядом нет никого понимающего, с кем поговорить,— нет, сэр, предложение ваше великодушное, но принять его, как хотите, не могу. Пусть это у меня недостаток патриотизма, и Мартинсвилл мне жаль. Чтобы видный горожанин дожил до Страшного суда — да это вызвало бы переворот в здешнем климате, и в торговой палате тоже. Но человек

должен поступать так, как ему хочется, хотя бы раз в жизни.— Он умолк и поглядел на точильщика.— Каюсь,— сказал он,— мне бы очень хотелось переплюнуть Айка Ливиса. Его послушать — можно подумать, что никто еще не доживал до девяноста лет. Но надо полагать...

— К сожалению, полисов на срок мы не выдаем,— сказал точильщик.

— Ну ничего, это я просто так спросил. Айк-то вообще молодец.— Он помолчал.— Скажите,— продолжал он, понизив голос,— ну, вы меня понимаете. После. То есть вероятно ли, что снова увидишь,— он кашлянул,— своих друзей, то есть правда ли то, во что верят некоторые люди?

— Этого я тебе не могу сказать,— ответил точильщик.— Про это я и сам не знаю.

— Что ж, спрос не беда,— сказал Джонни Пай смиренно. Он вгляделся в темноту. От косы взвился последний сноп искр, потом вжиканье смолкло.— Гм,— сказал Джонни Пай и провел пальцем по лезвию.— Хорошо наточена коса. Но в прежнее время их точили лучше.— Он тревожно прислушался, огляделся.— Ой, господи помилуй, вот и Элен меня ищет. Сейчас уведет обратно в дом.

— Не уведет,— сказал точильщик.— Да, сталь в этой косе недурна. Ну что ж, Джонни Пай, пошли.

Из цикла «Фантазии и пророчества»

Кровь мучеников

Человек, ожидавший расстрела, лежал с открытыми глазами и смотрел в левый верхний угол камеры. Последний раз его били довольно давно, и теперь за ним могли прийти когда угодно. В углу под потолком было желтое пятно; сперва оно ему нравилось, потом перестало; а теперь вот опять начало нравиться.

В очках он видел его яснее, но очки он надевал только по особым случаям: с утра, проснувшись; когда приносили еду; для бесед с генералом. Несколько месяцев назад во время одного избиения линзы треснули и подолгу носить очки он не мог — уставали глаза. К счастью, в его нынешней жизни ясное зрение требовалось редко. Тем не менее поломка очков беспокоила его, как беспокоит всех близоруких. Проснувшись утром, ты надеваешь очки, и все в мире становится на место; если этого не происходит, с миром что-то неладно.

Заключенный не особенно доверял символам, но самый страшный его кошмар стал неотступным: вдруг ни с того ни с сего от линзы отваливается большой осколок, и он ощупью ищет его по всей камере. Шарит в темноте часами, тщательно и осторожно, но кончается всегда одним и тем же — тихим внятным хрустом незаменимого стекла под каблуком или коленом. Он просыпался в поту, с ледяными руками. Этот сон чередовался с другим, где его расстреливали, но большого облегчения от такой перемены он не испытывал.

Видно было, что у лежащего умная голова, голова мыслителя или ученого — старая, лысая, с высоким куполом лба. Голова, вообще говоря, была весьма известная: она часто появлялась в газетах и журналах, нередко даже напечатанных на языке, которым профессор Мальциус не владел. Тело, согнутое и изношенное, было все еще жилистым крестьянским телом, способным долго выносить грубое обращение; тюремщики его в этом убедились. Зубов у него стало меньше, чем до тюрьмы, колено и ребра срослись неудачно, но это было не так уж важно. Кроме того, он подозревал, что у него плохо с кровью. Тем не менее, если бы он вышел на волю и лег в хорошую больницу, его бы, наверно, хватило еще лет на десять работы. Но на волю он, конечно, не выйдет. Его расстреляют до этого, и все будет кончено.

Иногда его охватывало сильное желание, чтобы все кончилось — сегодня, сию минуту; а иногда он дрожал от слепого страха перед смертью. Со страхом он боролся так же, как боролся бы с приступом малярии — понимая, что это только приступ,— но не всегда успешно. Он должен был справляться с этим лучше большинства людей, ведь он — Грегор Мальциус, ученый; но это не всегда удавалось. Страх смерти не отпускает, даже когда его квалифицируешь как чисто физическую реакцию. Выйдя отсюда, он мог бы написать весьма содержательную статью о страхе смерти. Да и здесь смог бы, если бы дали письменные принадлежности; но просить об этом бесполезно. Один раз их дали, и он провел два дня вполне счастливо. А потом работу разорвали у него на глазах и оплевали. Выходка, конечно, ребяческая, но охоту работать отбивает.

Странно, что он ни разу не видел, как стреляют в человека,— и тем не менее он этого не видел. Во время войны научные заслуги и плохое зрение избавили его от фронта. Когда их запасной батальон охранял железнодорожный мост, он раза два попадал под бомбежку — но это совсем другое дело. Ты не прикован к своей позиции, и самоле-

ты не пытаются убить тебя лично. Где этим занимаются в тюрьме, он, конечно, знал. Но заключенные не видят расстрелов — только слышат, если ветер с той стороны.

Снова и снова пробовал он вообразить, как это будет, но перед глазами вставала старинная гравюра, виденная в детстве,— казнь американского флибустьера Уильяма Уокера в Гондурасе. Уильям Уокер был бледный низкорослый человек с наполеоновским лицом. Очень корректно одетый, он стоял перед свежевырытой могилой, а перед ним в неровном строю туземцы поднимали свои мушкеты. Когда его застрелят, он аккуратно упадет в могилу, как человек, провалившийся в люк; опрятность процедуры произвела большое впечатление на мальчика Грегора Мальциуса. За стеной виднелись пальмы, а где-то справа — теплое синее Карибское море. Его будут расстреливать совсем не так; и однако, когда он думал об этом, картина ему рисовалась именно такая.

Ну что ж, он сам виноват. Он мог принять новый режим; так поступали и вполне уважаемые люди. Он мог бежать из страны; многие достойные люди так поступили. Ученый должен заниматься вечным, а не преходящими политическими явлениями; ученый может жить где угодно. Но тридцать лет в университете — это тридцать лет, а он как-никак — профессор Мальциус, один из лучших биохимиков в мире. До последней минуты он верил, что его не тронут. Да, он ошибся.

Истина, конечно,— это истина. Ты передаешь ее другим или не передаешь. Если не передаешь, то, в общем, неважно, чем ты занимаешься. Однако ни с каким правительством он не ссорился; он готов был вывешивать флаг по вторникам — лишь бы к нему не приставали. Большинство людей дураки, для них годится любое правительство... им двадцать лет понадобилось, чтобы принять его теорию клеточных мутаций. Вот если бы он был таким, как его друг Боннар — подписывал протесты, присутствовал на митингах в защиту мира и вообще валял дурака

при народе,— тогда у них были бы основания для недовольства. Великолепный специалист в своей области Боннар, лучше его нет, но вне ее — сколько неприличного актерства... и эта бородка, и румяные щеки, и приливы энтузиазма по всякому поводу! Такого, как Боннар, любое правительство могло бы посадить в тюрьму, хотя для науки это потеря, а потому неправильно. Собственно говоря, угрюмо размышлял он, Боннар с удовольствием стал бы мучеником. Он изящно прошествует к месту казни с одолженной сигаретой в зубах и угостит их напоследок какой-нибудь театральной остротой. Но у себя на родине Боннар в безопасности... несомненно, пишет благородные горячие статьи о Судьбе Профессора Мальциуса — а его, Мальциуса, ожидает расстрел. Он бы тоже хотел выкурить сигарету по дороге на казнь; он не курил пять месяцев. Но у них он просить не собирался, а самим предложить им в голову не придет. Вот в чем разница между ним и Боннаром.

Он затосковал по своей душной лаборатории и еще более душному лекционному залу в университете; ногам его захотелось ощутить под собой стертые ступени, по которым он поднимался десять тысяч раз, глазам — заглянуть сквозь верный окуляр во вселенную, недоступную простому глазу. Его звали Медведем и Старой Колючкой, но все, даже лучшие из них, дрались за то, чтобы работать под его началом. Говорили, что он Страшный суд объяснит через клеточные явления; но на лекциях у него яблоку было негде упасть. Это Вильямс, англичанин, выдумал легенду, будто он всегда носит в своем потрепанном портфеле шоколадный эклер и непристойные открытки. Совершенная нелепость, разумеется,— от шоколада ему всегда становилось плохо, а на непристойную открытку он ни разу в жизни даже не взглянул. И Вильямс никогда не узнает, что он тоже знал про эту легенду: Вильямс давно убит на фронте. На миг профессор Мальциус ощутил слепую ненависть оттого, что такая вели-

колепная научная машина, как Вильямс, уничтожена на войне. Но слепая ненависть — неподобающее чувство для ученого, и он отбросил ее.

Он опять угрюмо улыбнулся; его учеников разложить не удалось — недаром он все-таки Медведь! Он видел, как одного коллегу освистала и согнала с кафедры шайка фанатичных молодых хулиганов,— жаль, конечно, но если у себя в аудитории не умеешь навести порядок, очисть место. Лабораторию его они разгромили — но в его отсутствие.

До чего глупо, до чего бессмысленно. «Объясните ради бога,— рассудительно сказал он неизвестно кому,— ну какой из меня заговорщик? В моем возрасте, при моих склонностях! Меня интересует жизнь клетки!» А его бьют за то, что он не хочет рассказывать о своих учениках. Как будто он только и знал, что прислушивался к этому вздору. Были какие-то пароли, приветствия — входя в ресторан, ты насвистывал определенный мотивчик; существовал адрес фирмы, якобы занимавшейся пылесосами. Но эти сведения не принадлежат ему лично. Они — достояние молодых людей, веривших Медведю. Смысла их он в половине случаев не знал; а однажды он пришел на собрание — и чувствовал себя глупо. Глупость и ребячество — ребяческие игры в заговор, совершенно во вкусе таких, как Боннар! А могут они построить хотя бы лучший мир, чем сегодня? Он глубоко в этом сомневался. Но предать их нельзя; они пришли к нему, оглядываясь через плечо, и темнота была в их глазах.

Ужасно, невыносимо — когда в тебя верят. Он не желал быть вожатым и советчиком молодежи. Он хотел заниматься своим делом. Что ж, что они бедные, обтрепанные, угнетенные,— он сам был крестьянином, ел черный хлеб. И только благодаря себе стал профессором Мальциусом. Не нужно ему доверие таких юнцов, как Грегоропулос... да кто он такой, Грегоропулос? Прекрасный неутомимый лабораторный ассистент — и до конца дней останется ла-

бораторным ассистентом. Он сновал по лаборатории, как фокстерьер, с живыми блестящими глазами фокстерьера. Как верная собака, сделал бога из профессора Мальциуса. «Я не желаю знать, дружок, о ваших затруднениях. Чем вы заняты вне лаборатории, меня не касается». И тем не менее Грегоропулос тащил ему свои затруднения доверчиво, почтительно и гордо, как фокстерьер — косточку. А в такой ситуации... ну что прикажете делать?

Он надеялся, что они переболеют этим. Мир должен быть, как химическая формула, рациональным, логичным. А тут эти молодые люди, их глаза. Они составляли ребяческие, безнадежные заговоры против новой власти. Они ходили зимой без пальто, их часто выслеживали и убивали. А если они не становились заговорщиками, то с головой уходили в свои жалкие романчики, питались неправильно... да, все это у них со студенчества повелось. Какого черта они не примут эту власть? Смогли бы заняться делом. Правда, многим из них и не позволили бы принять — не те у них убеждения, не те политические взгляды,— но ведь они могли бежать. Если бы Мальциусу в двадцать лет пришлось бежать за границу, он все равно бы стал ученым. Разговоры о свободном мире — самообман; человек не свободен в мире. Кто хочет, тому дается срок, чтобы исполнить дело. И больше ничего. И однако, он тоже не принял — и не понимает почему.

Он услышал шаги в коридоре. Тело его задрожало, а старые ушибы заболели. Он отметил этот интересный рефлекс. Иногда они просто светят в камеру и идут мимо. С другой стороны, возможно, что это смерть. Определить трудно.

Скрипнул замок, и дверь отворилась.

— Вставай, Мальциус,— произнес резкий, бодрый голос надзирателя.

Грегор Мальциус поднялся, не особенно легко, но быстро.

— Очки надень, старый дурак! — засмеявшись, сказал

надзиратель.— К генералу идешь.

Каменный пол в коридоре показался профессору неровным, хотя давно был изучен. Раза два надзиратель ударил его, но легонько, без злости — так подстегивают старую лошадь. Удары были привычны и не дошли до его сознания; он лишь подумал с гордостью, что не спотыкается. А вообще он часто спотыкался; однажды разбил колено.

Он заметил, что надзиратель ведет себя скованнее и официальнее, чем обычно. Настолько, что один раз в ярко освещенном коридоре, уже замахнувшись на профессора, он сдержался и не ударил. Однако и такое случалось с тем или иным надзирателем, и профессор Мальциус просто отметил этот факт. Факт незначительный, но при скудости здешнего бытия — важный.

Без сомнения, в замке происходило что-то необычное. Больше было охранников, причем много незнакомых. На ходу он напряженно думал: не может ли быть так, что сегодня — один из новых государственных праздников. Трудно их все упомнить. И вдруг у генерала хорошее настроение. Тогда они полчаса поиграют в кошки-мышки, и ничего особенно плохого не произойдет. Один раз его угостили сигарой. При мысли об этом ученый Мальциус облизнулся.

С приветствиями его передали другому наряду конвоиров. Это было совсем необычно; профессор Мальциус незаметно прикусил губу. Как у монаха и у каждого опытного заключенного, любая перемена в привычным распорядке вызывала у него острое подозрение. Нет большего консерватора, чем заключенный; желание его простое: никаких новшеств в заведенном порядке.

Встревожило его и то, что новые конвоиры над ним не смеялись. Конвоиры почти всегда смеялись, увидя его в первый раз. К их смеху он привык, и теперь ему стало не по себе, в горле пересохло. Ему хотелось бы перед смертью еще раз пообедать в университетском ресторане.

Кормили там скверно, больше мучным — едой бедных преподавателей и студентов,— но ему хотелось снова побывать в чадном зале, где пахло капустой и медными котлами, посидеть за чашкой горького кофе с дешевой сигаретой. Он не просил о том, чтобы ему вернули собаку, дневники, старые фотографии в спальне, опыты, не законченные на воле. Только еще раз пообедать в университетском ресторане, чтобы люди заметили Медведя. Скромная, кажется, просьба — но, конечно, неисполнимая.

— Стой! — скомандовали ему, и он остановился. В третий раз произошел обмен приветствиями. Затем отворилась дверь в кабинет генерала, и ему приказали войти.

Он вошел и встал по стойке смирно, как его учили. Трещина в левом стекле очков расколола комнату вдоль, и глаза уже болели, но он не обращал на это внимания. Он узнал генерала, в котором было что-то от сытого и очень здорового кота; а за генеральским столом сидел другой человек. Этого он не мог разглядеть как следует — из-за трещины фигура коробилась и колыхалась,— но его присутствие не понравилось профессору.

— Ну-с, профессор,— непринужденным мурлыкающим голосом произнес генерал.

Мальциус вздрогнул всем телом. Он допустил ужасную, непростительную оплошность. Надо немедленно ее исправить.

— Да здравствует наша держава,— громко и хрипло сказал он, сопроводив свои слова приветствием. Он с досадой подумал, что приветствие выглядит у него смешно и сам он смешон в такой позе. Но, может быть, это рассмешит генерала — бывало и такое. Тогда все обойдется, ведь после того как ты посмеялся над человеком, его труднее бить.

Генерал не засмеялся. Он по-военному повернулся к сидящему за столом. Это движение говорило: «Смотрите, как он вышколен». В этом движении виден был человек бывалый, привыкший иметь дело со строптивыми крестья-

нами и животными,— человек, которому пристали генеральские погоны.

Сидящий не обратил внимания на генерала. Он поднял голову, Мальциус разглядел его и не поверил своим глазам. Это был не человек, а оживший портрет. Профессор Мальциус видел этот портрет тысячу раз и был вынужден отдавать ему честь, снимать перед ним шляпу — когда еще носил шляпу. Портрет даже надзирал за тем, как его били. Сам человек оказался чуть мельче, но в остальном портрет не лгал. В мире было много диктаторов; встречался и такой типаж. Лицо белое, крючконосое, наполеоновского склада; поджарое военное тело расположилось в кресле прямо. Выделялись на лице глаза; рот был жесткий. Помню одного гипнотизера и еще ту женщину, которую мне показывал в своей парижской клинике Шарко, думал профессор Мальциус. И, очевидно, эндокринное нарушение. Тут его размышления были прерваны.

— Пусть подойдет ближе,— сказал сидящий.— Он меня слышит? Он глухой?

— Нет, Ваше превосходительство,— с чудовищной почтительностью промурлыкал генерал.— Он староват, но вполне здоров... Верно, профессор Мальциус?

— Да, я вполне здоров. Со мной обращаются очень хорошо,— громко и хрипло ответил профессор Мальциус. В такую ловушку его не поймают, даже если нарядят кого-то Диктатором. Он вцепился взглядом в большую старомодную чернильницу у генерала на столе: чернильница-то уж наверняка не бред.

— Подойдите ближе,— сказал сидящий, и профессор Мальциус подошел так близко, что почти мог коснуться чернильницы рукой. Тут он резко остановился, в надежде, что вел себя правильно. Теперь трещина в линзе не заслоняла сидящего, и профессор Мальциус вдруг понял, что все — явь. Этот человек с жестким ртом — в самом деле Диктатор. Он заговорил:

— Со мной здесь обращаются очень хорошо, и генерал

ко мне чрезвычайно внимателен. Но я — профессор Грегор Мальциус, профессор биохимии. Я тридцать лет читал лекции в университете. Я член Королевского общества, член-корреспондент Академии наук в Берлине, Риме, Бостоне, Париже и Стокгольме. Я награжден Ноттингемской медалью, медалью Ламарка, португальским орденом Святого Иоанна, Нобелевской премией. Я думаю, что у меня плохо с кровью, но я имею научные заслуги, и мои эксперименты по мигрирующим клеткам не закончены. Я не собираюсь жаловаться на дурное обращение, но я должен продолжать эксперименты.

Удивляясь собственному голосу, он смолк, как часы, в которых вышел весь завод. Каким-то уголком сознания он отметил, что генерал сделал попытку его остановить, но сам был остановлен Диктатором.

— Да, профессор Мальциус,— произнес Диктатор резким невыразительным голосом.— Произошла досадная ошибка.— На профессора Мальциуса смотрело застывшее лицо. Профессор Мальциус встретил его взгляд. Он молчал.

— Сегодня,— Диктатор повысил голос,— от каждого гражданина страна требует повиновения. В окружении завистливых врагов наша возрожденная земля шагает к своей величественной цели.— Слова продолжали звучать, голос усиливался и утихал. Профессор Мальциус почтительно слушал; он слышал эти слова множество раз, и они потеряли для него всякий смысл. Он думал о некоторых клетках в организме, восстающих против сложных процессов естества и образующих отдельное воинственное государство. Без сомнения, и у него есть своя цель, думал профессор, но в медицине оно называется раком.

— Злые и завистливые языки в других странах объявляют, что мы намерены уничтожить знание и науку,— заканчивал Диктатор.— Наша цель иная. После очищения — возрождение. Мы создадим величайшую науку в мире — нашу собственную науку, основанную на вечных принципах нашей государственности.— Он внезапно смолк,

его взгляд сонно обратился внутрь. Очень похоже на ту девушку у Шарко, что я видел в молодости, подумал профессор Мальциус; сначала вспышка, потом затишье.

— Я попал под очищение? Мне не хотели причинить зло? — робко спросил он.

— Да, профессор Мальциус,— с улыбкой ответил генерал,— вы попали под очищение. Теперь это позади. Его превосходительством было объяснено.

— Я не понимаю,— сказал профессор Мальциус, глядя на неподвижное лицо сидящего.

— Все очень просто,— сказал генерал. Он говорил медленно и вразумительно, как говорят с ребенком или тугоухим.— Вы выдающийся ученый... вы удостоились Нобелевской премии. Это заслуга перед государством. Однако вы подпали под влияние вредных политических идей. Это измена государству. И по распоряжению Его превосходительства вам был установлен срок для проверки и перевоспитания. Будем надеяться, что он закончился.

— Вам больше не нужны имена молодых людей? — спросил профессор Мальциус.— Вам не нужны адреса?

— Это уже не имеет значения,— терпеливо объяснил генерал.— Оппозиции больше нет. Три недели назад руководители были схвачены и казнены.

— Оппозиции больше нет,— повторил профессор Мальциус.

— Вас даже не привлекли к процессу.

— Даже не привлекли,— повторил профессор Мальциус.— Да.

— Теперь,— генерал посмотрел на Диктатора,— речь пойдет о завтрашнем дне. Буду откровенен — новое государство откровенно со своими гражданами.

— Да, это так,— промолвил Диктатор по-прежнему с отсутствующим взглядом.

— В зарубежных странах происходил... скажем так — определенный ажиотаж вокруг имени профессора Мальциуса,— продолжал генерал, по-прежнему не сводя глаз

с Диктатора.— Разумеется, это не имеет никакого значения. Тем не менее ваш знакомый, профессор Боннар, и другие вмешивались в дела, которые их не касаются.

— Они мной интересовались? — с удивлением спросил профессор Мальциус.— В самом деле, мои эксперименты достигли той стадии, когда...

— Никакие посторонние влияния не уведут нас от нашей непреложной цели,— произнес Диктатор.— Наша непреложная цель — доказать свое превосходство в науке и культуре, как мы уже доказали свое превосходство в мужестве и государственности. Вот почему вы здесь, профессор Мальциус.— Он улыбнулся.

Профессор Мальциус неотрывно смотрел на Диктатора. Щеки у него задрожали.

— Я не понимаю,— сказал профессор Мальциус.— Вы вернете мне лабораторию?

— Да,— сказал Диктатор, и генерал кивнул профессору, как непонятливому ребенку.

Профессор Мальциус провел рукой по лбу.

— Кафедру в университете? — сказал он.— Я буду продолжать эксперименты?

— Наше государство ставит себе целью всемерно содействовать нашим верным сынам науки,— проговорил Диктатор.

— Первым делом,— сказал профессор Мальциус,— мне надо лечь в больницу. У меня плохо с кровью. Но это не займет много времени.— Он заговорил возбужденно, и глаза у него заблестели.— Так... мои записи, вероятно, сожжены. Глупо — но мы можем начать сызнова. У меня очень хорошая память, отличная память. Понимаете, вся теория — у меня в голове,— он постучал себя по лбу.— И конечно, мне нужны помощники; лучшим был у меня малыш Грегоропулос...

— Ваш Грегоропулос казнен,— сурово промолвил генерал.— Забудьте его.

— Да?..— сказал профессор Мальциус.— Тогда нужен

кто-нибудь еще. Должны же быть молодые люди... сообразительные... не могли все погибнуть. Я подыщу. Медведь всегда снимал сливки,— добавил он с нервным смешком.— Знаете, меня прозвали Медведем.— Профессор осекся и посмотрел на них с ужасом.— Вы меня не обманываете? — Он зарыдал.

Когда он пришел в себя, с ним в кабинете был только генерал. Генерал разглядывал его так, как он в свое время разглядывал в микроскоп неведомые формы жизни: без сочувствия и без отвращения, а с большим интересом.

— Его превосходительство прощает вам это недостойное предположение. Он понимает, что вы перенервничали.

— Да,— сказал профессор Мальциус. Он всхлипнул и вытер очки.

— Полно, полно,— с грубоватым добродушием сказал генерал.— Разве можно плакать нашему новому президенту академии? На фотографиях это выйдет некрасиво.

— Президент академии? — быстро переспросил профессор Мальциус.— Нет, нет, я не гожусь в президенты. Они произносят речи, занимаются административными делами. А я ученый и учитель.

Генерал посмотрел на профессора Мальциуса, но ответил пока еще добродушно:

— Боюсь, что вам этого не избежать. Ваше вступление в должность будет обставлено со всей торжественностью. Председательствовать будет Его превосходительство. А вы произнесете речь о новых победах нашей науки. Это станет великолепной отповедью мелким и злопыхательским нападкам наших соседей. Нет, относительно речи можете не беспокоиться,— поспешно добавил он.— Речь вам подготовят; вам останется только прочесть. Его превосходительство предусматривает все.

— Очень хорошо,— сказал профессор Мальциус.— И тогда я смогу вернуться к работе?

— Об этом не беспокойтесь,— с улыбкой ответил гене-

рал.— Я всего лишь солдат; в этих вопросах несведущ. Но работы у вас будет вдоволь.

— Чем больше, тем лучше,— с нетерпением сказал профессор Мальциус.— Мне еще осталось полноценных лет десять.

Улыбнувшись, он раскрыл рот, и по лицу генерала скользнула хмурая тень.

— Да,— произнес он как бы про себя.— Зубами надо заняться. Немедленно. И всем остальным... до того как фотографировать. Молоко. Вы удовлетворительно себя чувствуете, профессор Мальциус?

— Я очень счастлив,— сказал профессор Мальциус.— Со мной очень хорошо обращались, и я крестьянской породы.

— Отлично,— сказал генерал. И, помолчав, продолжал уже официальнее: — Само собой разумеется, профессор Мальциус...

— Да? — Профессор Мальциус встрепенулся.— Прошу прощения. Я задумался о другом.

— Само собой разумеется, профессор Мальциус,— повторил генерал,— что ваше... э-э... исправление на службе у государства — дело постоянное. Без надзора вас, естественно, не оставят, и тем не менее ошибок быть не должно.

— Я ученый,— нетерпеливо возразил профессор Мальциус.— Что мне до политики? Если хотите, чтобы я принес присягу на верность, я готов присягать столько раз, сколько вам нужно.

— Рад, что вы заняли такую позицию,— произнес генерал, хотя посмотрел на профессора Мальциуса странно.— Могу сказать, что сожалею о неприятной стороне наших бесед. Верю, что вы не будете держать на нас зла.

— На что мне сердиться? — сказал профессор Мальциус.— Вам велели делать одно. Теперь велят делать другое. Вот и все.

— Дело обстоит не так просто,— сказал генерал с холодностью. Он в третий раз посмотрел на профессора

Мальциуса.— А я готов был бы поклясться, что вы из непокорных,— промолвил он.— Ну что ж, ну что ж, видимо, у каждого человека есть свой предел прочности. Через минуту вы получите окончательные указания Его превосходительства. Вечером вы отправитесь в Национальное собрание и выступите по радио. С этим у вас не будет сложностей — речь написана. Она умерит деятельность нашего друга Боннара и дебаты в британском парламенте. Затем несколько недель отдыха на море, протезирование, а затем, мой дорогой президент академии, вы сможете приступить к исполнению ваших новых обязанностей. Поздравляю вас и надеюсь, что мы с вами будем часто встречаться при более благоприятных обстоятельствах.— Он отвесил Мальциусу поклон, вполне светский поклон, хотя в усах его по-прежнему было что-то кошачье. Затем он встал навытяжку, и Мальциус тоже: вошел Диктатор.

— Улажено? — произнес Диктатор.— Хорошо. Я приветствую вас, Грегор Мальциус,— вы на службе у нового государства. Вы отбросили свои ошибки и соединили свою судьбу с нами.

— Да,— сказал профессор Мальциус.— Теперь я могу заняться своим делом.

Диктатор слегка нахмурился.

— Вы не только сможете продолжать ваши неоценимые исследования, вы сможете — и это входит в ваши обязанности — способствовать распространению наших национальных идеалов. Наша возрожденная страна должна править миром на благо всего мира. В нас горит пламя, которого лишены другие народы. Наша цивилизация должна распространиться повсюду. Этого требует будущее. Этому будет посвящено ваше первое выступление в качестве главы академии.

— Но я не солдат,— тихо возразил профессор Мальциус.— Я биохимик. У меня нет опыта в делах, о которых вы упомянули.

Диктатор кивнул.

— Вы — выдающийся деятель науки,— сказал он.— Вы докажете, что наши женщины должны рожать солдат, а мужчины — забыть все нелепицы о республиках и демократиях ради веры в тех, кто рожден править ими. Вооружась законами науки, вы докажете, что некоторым расам, в частности нашей расе, предначертано править миром. Вы докажете, что править им предначертано путем войны и что война есть один из устоев нашей нации.

— Но так не бывает,— возразил профессор Мальциус.— Я хочу сказать,— пояснил он,— в лаборатории смотрят, наблюдают. Долго наблюдают. Это длительный процесс, очень длительный. И тогда, если теория не подтвердилась, теорию отбрасывают. Вот как это происходит. Я, наверно, плохо объяснил. Я ведь биохимик, я не умею выискивать преимущества одной расы перед другой, я ничего не могу доказать о войне, знаю только, что она убивает. Если бы я сказал что-нибудь другое, надо мной бы смеялся весь свет.

— В нашей стране ни один человек не будет над вами смеяться,— сказал Диктатор.

— Но если надо мной не смеются, когда я не прав, тогда нет науки,— хмуря брови, сказал профессор Мальциус. Он помолчал.— Поймите меня. Мне осталось десять лет полноценной работы, я хочу вернуться в лабораторию. Понимаете, ведь есть молодежь... если я еще буду учить молодежь.

Профессор снова умолк, он увидел молодые лица. Множество лиц. Англичанин Вильямс, погибший на войне, малыш Грегоропулос с глазами фокстерьера. Все, кто прошел через его аудитории,— от самых глупых до самых лучших. Они съезжались со всего света — он помнил одного индийского студента... и китайца. Они ходили в дешевых пальто, были жадны до знаний, они ели скверную мучную пищу в бедных ресторанчиках, с головой погружались в свои жалкие маленькие романы, занимались ребяческими играми в политику — вместо дела. Но кое-кто из них подавал

надежды... и все нуждались в истине. Пусть они гибнут, но они нуждаются в истине. Иначе не будет никакой преемственности, никакой науки.

Он посмотрел на Диктатора... да, это истерическое лицо. Он знал бы, как с ним обойтись в аудитории... но такие лица не должны править страной молодежи. На какие только бессмысленные церемонии не пойдешь ради дела — наденешь мундир, будешь отдавать честь, сделаешься президентом академии. Это не важно; кесарево — кесарю. Но лгать молодым людям в своей науке? Ведь это они прозвали его Медведем и пустили слух, будто он носит в портфеле непристойные открытки. Они взвалили на него ужасное бремя своего доверия — не за любовь и доброту, а за то, что сочли его честным. Поздно меняться.

Диктатор бросил острый взгляд на генерала.

— Я полагал, профессору Мальциусу объяснено.

— Да, конечно,— сказал профессор Мальциус.— Я подпишу любые бумаги. Уверяю вас, я не интересуюсь политикой... куда мне, помилуйте! Что та власть, что эта... И очень соскучился по табаку — пять месяцев не курил. Но понимаете, нельзя быть ученым и лгать.

Он посмотрел на одного и на другого.

— А что будет, если я откажусь? — спросил он упавшим голосом. И прочел ответ на лице Диктатора. Это было фанатичное лицо.

— Ну, тогда мы возобновим наши беседы, профессор Мальциус,— усмехнувшись, промолвил генерал.

— Значит, меня опять будут бить,— сказал профессор Мальциус. Он сказал об этом как о чем-то не вызывающем сомнений.

— Процесс исправления, видимо, еще не завершен,— отозвался генерал,— но со временем, будем надеяться...

— В этом нет нужды,— сказал профессор Мальциус. Он устало огляделся. Плечи у него расправились... вот так он держался в аудитории в те времена, когда его звали Медведем.— Пригласите ваших офицеров,— отчетливо

произнес он.— Мне предстоит подписать бумаги. Я хотел бы сделать это в их присутствии.

— Зачем?..— спросил генерал.— Зачем?..— Он в сомнении посмотрел на Диктатора.

На сухом диктаторском лице выразилось удовлетворение. Белая, на удивление вялая рука прикоснулась к руке профессора Мальциуса.

— У вас станет легче на душе, Грегор,— произнес хриплый возбужденный голос.— Я крайне рад, что вы согласились.

— Ну конечно, я соглашаюсь,— сказал Грегор Мальциус.— Разве вы не Диктатор? Кроме того, если не соглашусь, меня опять будут бить. А я не могу,— понимаете? — не могу, чтобы меня опять били.

Он умолк, слегка задыхаясь. А комната уже наполнилась другими лицами. Он хорошо их знал, эти суровые лица новой власти. Но и среди них — молодые.

Диктатор что-то говорил о выдающемся ученом, профессоре Грегоре Мальциусе, который состоит отныне на службе у нового государства.

— Возьмите ручку,— вполголоса распорядился генерал.— Чернильница здесь, профессор Мальциус. Теперь можете подписать.

Профессор Мальциус сжимал пальцами большую старомодную чернильницу. Она была полна — слуги Диктатора работали исправно. Они расстреливали за измену тщедушных людей с глазами фокстерьеров, но поезда у них ходили по расписанию, а чернильницы не пересыхали.

— Государство,— задыхаясь, сказал он.— Да. Но наука не знает государств. А вы — маленький человечишко, маленький, незначительный человечишко.

И раньше чем генерал успел ему помешать, он схватил чернильницу и швырнул Диктатору в лицо. Спустя мгновение кулак генерала ударил его выше уха, и он упал за стол. Но, лежа там, он все равно видел через треснутые очки нелепые чернильные кляксы на лице и мундире Диктатора

и кровоточащую ранку над глазом. В него не стреляли; он так и подумал, что будет слишком близко к Диктатору и они побоятся выстрелить сразу.

— Вывести его и расстрелять. Сейчас же,— сухо произнес Диктатор. Он и не подумал стереть с мундира чернила — профессор Мальциус почувствовал к нему уважение. А потом все бросились к профессору Мальциусу, спеша опередить друг друга. Он не сопротивлялся.

Пока его гнали по коридору, он то и дело падал. При втором падении очки разбились окончательно, но это уже не имело значения. Очень торопятся, сказал он себе, но тем лучше — когда не видишь, можно не думать.

Время от времени он слышал звуки собственного голоса, свидетельствовавшие о том, что ему нехорошо; но голос существовал отдельно от него. Он видел Грегоропулоса, очень ясно... Вильямса с его свежим английским румянцем... и всех, кого он учил.

Он не давал им ничего, кроме работы и истины; они же взвалили на него страшное бремя доверия. Если бы его опять стали бить, он мог бы их выдать. Но этого он избежал.

Он поддался последней слабости — ему захотелось, чтобы о нем узнали. Не узнают, конечно,— он умрет в замке от тифа, об этом с прискорбием сообщат газеты. А потом его забудут, останутся только труды — так и должно быть. Он всегда был не слишком высокого мнения о мучениках — истерики в большинстве. А хорошо бы Боннар узнал о чернилах; такая грубоватая комедия не в его вкусе. Что поделаешь — крестьянин; Боннар ему это часто говорил.

Они вышли на открытый двор, и он вдохнул свежий воздух.

— Тише,— сказал он.— Чуть тише. Что за спешка? — А его уже привязывали к столбу. Кто-то ударил его по лицу, на глазах навернулись слезы.— Мальчишка, перепачканный чернилами,— пробормотал он сквозь выбитые

зубы.— Причем истеричный мальчишка. Но истину не убьешь.

Это были не самые удачные последние слова — и он понимал, что не самые удачные. Надо придумать что-нибудь покрасивее — не осрамить Боннара. Но ему уже вставили кляп; тем лучше — избавили от лишних трудов.

Тело его, привязанное к столбу, болело, но зрение и ум прояснились. Он мог разглядеть вечернее небо, серое от мглы; небо не принадлежало ни одной стране, а принадлежало всему миру.

Он различал высокий серый контрфорс замка. Замок превратили в тюрьму, но он не всегда будет тюрьмой. И когда-нибудь, наверно, вообще перестанет существовать. А вот если найдена крупица истины, она будет существовать всегда, покуда будет кому ее помнить и открывать заново. Только лживые и жестокие всегда терпели неудачу.

Шестьдесят лет назад он был мальчиком, ел жидкий капустный суп с черным хлебом, жил в бедном доме. Жизнь была горька, но он не мог на нее пожаловаться. У него были хорошие учителя, и его звали Медведем.

Рот болел от кляпа... они уже готовились. Была когда-то девушка Анна; он ее почти забыл. В комнатах у него всегда стоял свой запах, и когда-то у него была собака. Что они сделают с медалями — не важно. Он поднял голову и снова посмотрел в серое мглистое небо. Сейчас не станет мысли, но пока она есть, ты должен замечать и помнить. Пульс у него был реже, чем он ожидал, а дыхание до странности ровным — но это несущественно. Существенно то, что вовне — в сером небе, где нет стран, в камнях земли, в слабом человеческом духе. Существенна истина.

— Приготовься! — скомандовал офицер.— Целься! Пли!

Но профессор Мальциус не слышал его команд. Он думал о молодых людях.

Кошачий король

— То есть как, дорогая? — дрогнувшим голосом проговорила миссис Бомбардо.— Настоящий... хвост?

Миссис Лепет с достоинством кивнула.

— Совершенно настоящий. Я была на его концертах. Дважды. Во-первых, конечно, в Париже. И потом еще это потрясающее выступление в Риме. Мы сидели в Королевской ложе. И представьте, он... Если бы вы знали, дорогая, как у него звучит оркестр!.. И он дирижировал...— она самую чуточку замялась,— хвостом!

— Ах, какой ужас! — восхищенно и алчно воскликнула миссис Бомбардо.— Надо будет сразу же пригласить его на обед. Он ведь приезжает, это точно?

— Двенадцатого,— подтвердила миссис Лепет, округлив глаза.— Новый Симфонический пригласил его дать с ними три концерта. Надеюсь, вы сможете как-нибудь пообедать у нас, пока он здесь. Он, разумеется, будет очень занят, и он все свое свободное время обещал уделить нам.

— Спасибо, дорогая,— неуверенно отозвалась миссис Бомбардо, не забывшая свое прошлое покушение на одного английского романиста, которого выставляла у себя в салоне миссис Лепет.— Вы всегда так гостеприимны! Но зачем же вам все взваливать на свои плечи? Остальные тоже должны внести посильную лепту. Например, мы с Генри будем от души рады...

— Это очень любезно с вашей стороны, дорогая.— Миссис Лепет тоже помнила про выкраденного романиста.— Но мы обещали мосье Тибо... прелестное имя, не правда

ли? Говорят, он прямой потомок Тибальта из «Ромео и Джульетты», оттого, наверно, и не любит Шекспира... Мы обещали мосье Тибо тихое и скромное времяпрепровождение, разве что один небольшой прием в самом узком кругу после первого концерта. Он терпеть не может шумные, разношерстные сборища.— Она обвела гостей миссис Бомбардо укоризненным взором.— И потом, из-за этой своей маленькой... м-м... особенности,— деликатно кашлянула она,— он стесняется незнакомых людей.

— Но я все-таки не понимаю, тетя Эмили,— сказал племянник миссис Лепет, Томми Брукс.— У этого хрена Тибо что же, вправду есть хвост? Прямо как у обезьяны?

— Томми, мой друг,— язвительно заметила миссис Бомбардо,— во-первых, мистер Тибо — не хрен, а выдающийся музыкант, первый дирижер Европы. А во-вторых...

— Вправду,— твердо ответила миссис Лепет.— Есть хвост. И он им дирижирует.

— Но как же так? — недоуменно пробормотал Томми. У него покраснели уши.— То есть, конечно, я не сомневаюсь, раз вы сами видели, тетя Эмили. Но все-таки это уж ни в какие ворота не лезет, как говорится. Ведь верно, профессор Свист?

Профессор Свист откашлялся.

— Гм, гм,— произнес он и свел руки концами пальцев.— Я с нетерпением жду встречи с... э-э-э... мосье Тибо. Лично мне никогда не случалось наблюдать подлинный экземпляр homo caudatus*, поэтому я склонен сомневаться, однако, с другой стороны... В средние века, например, была широко распространена вера в существование... э-э-э... хвостатых людей, и, по-видимому, для нее имелись основания. Еще в восемнадцатом веке один голландский мореплаватель, пользующийся репутацией достаточно правдивого человека, писал, что обнаружил на острове Формоза двух туземцев с хвостовыми придатками на копчиках.

* Человека хвостатого *(лат.)*.

Они, как я понимаю, находились на низкой ступени цивилизации, и соответствующие образования были отчетливо видны. А от 1860 года мы имеем свидетельство английского врача доктора Гримбрука, якобы наблюдавшего среди своих пациентов-африканцев по меньшей мере троих с короткими, но вполне выраженными хвостами, впрочем, его рассказ не подкреплен никакими доказательствами. Словом, явление это возможное, хотя, бесспорно, необычное. Перепонки между пальцами ног, рудименты жабр — такие черты встречаются достаточно часто. Или, скажем, аппендикс, он всегда при нас. В цепи, связывающей нас с обезьяноподобными праформами, есть недостающие звенья. В конце концов, что такое те несколько позвонков, которыми заканчивается позвоночник у любого из нас,— воодушевился профессор, обводя всех сотрапезников нежным взглядом,— как не зачаток скрытого рудиментарного хвоста? Да-да, это возможно... вполне... в исключительных случаях... возврат к архетипу... атавизм, хотя, с другой стороны...

— Вот видите,— поставила точку миссис Лепет.— Ну, разве не восхитительно? Как вы находите, принцесса?

Принцесса Вивраканарда скользнула по ее ликующему лицу взглядом своих удивительных глаз, голубых, как поле незабудок, и бездонных, как небо в зените.

— Да, оч-чень,— произнесла она голоском, мягким и шершавым, точно золотистый бархат под ладонью.— Я бы хотела... Я бы оч-чень хотела увидеть этого мосье Тибо.

— Лично я бы хотел, чтобы он свернул себе шею,— негромко буркнул Томми Брукс, но на Томми никто не обращал внимания.

Однако чем ближе подходил срок прибытия мосье Тибо к нам в Штаты, тем сомнительнее казалась искренность принцессы в этом вопросе: ведь до сих пор она сама была неоспоримой сенсацией сезона, а известно, чтó за народ эти светские львы и львицы.

Сезон, если помните, был тогда сиамский, и все сиамское котировалось так же высоко, как русский акцент в те изысканные стародавние времена, когда у нас впервые появилось кабаре «Летучая мышь». Сиамский Художественный театр, доставленный к нам за бешеные деньги, давал спектакли при аншлагах. «Гушуптцу», роман-эпопея из сиамской сельской жизни в девятнадцати томах мелким шрифтом, только что получил Нобелевскую премию. По сведениям, поступающим от модных торговцев комнатными зверюшками и тритончиками, спрос на сиамских кошек просто невозможно было удовлетворить. И на гребне волны этого всеобщего интереса элегантно и непринужденно плыла принцесса Вивраканарда, точно гавайская купальщица, несущаяся на доске с валом прибоя. Она была незаменима. Она была неподражаема. Она была всюду.

Юная, чудовищно богатая, по одной линии в родстве с королевским домом Сиама, а по другой — с Кэботами (и при этом первые восемнадцать из ее двадцати двух лет были покрыты золотой завесой неизвестности), она как продукт смешения рас обладала особой, экзотической красотой, настолько же яркой, насколько и необыкновенной. Небрежная кошачья грация движений, смуглая кожа, словно бы припудренная крупицами чистейшего золота, а чуть скошенные глаза такой удивительной прозрачной голубизны, точно море над карибскими рифами. Каштановые волосы ниспадали ей до колен — профессиональная ассоциация парикмахеров сулила баснословные деньги за право остричь их «под фокстрот». Прямые, как струи водопада, они источали слабый, вкрадчивый аромат сандала и специй и слегка отсвечивали солнцем и ржавчиной. Говорила она мало,— зачем ей? — но ее особенный, тихий, с мелодичной гнусавинкой голосок оставался в памяти надолго. Она жила одна и, по слухам, была очень ленива — говорили, например, что почти весь день она спит, зато ночью расцветает, как таинственный луноцвет, и в глазах ее появляется глубина.

Не приходится удивляться, что Томми Брукс влюбился. Удивительно другое: как она ему это позволила? В Томми не было ничего яркого и экзотического — нормальный симпатичный молодой человек из тех, кто создан тянуть лямку будней, проводя большую часть дня за чтением газет в университетском клубе, а вечером всегда готовый выручить хозяйку и явиться на званый обед, если надо заткнуть грудью внезапно образовавшуюся брешь в шеренге ожидаемых гостей. Правда, принцесса Вивраканарда лишь терпела своих воздыхателей — никто не видел, чтобы ее надменно-равнодушные очи оживали навстречу мужчине. Но Томми она словно бы терпела благосклоннее, чем остальных,— и в любовных мечтаниях этого молодого человека уже начинали фигурировать алмазы с яйцо и апартаменты на Парк авеню, когда приезжий дирижер прославленный мосье Тибо давал в Карнеги-холле свой первый концерт.

Томми Брукс сидел подле принцессы и бросал на нее искоса томные любовные взгляды. Однако ее лицо оставалось холодным, как маска, и пока публика рассаживалась и затихала, принцесса Вивраканарда отпустила только одно замечание — что сегодня, кажется, довольно много народу. Но Томми был на этот раз скорее даже рад ее надменному равнодушию: со времени обеда у миссис Бомбардо его почему-то все больше и больше беспокоило, как она отнесется к этому типу Тибо. Меру его преданности видно уже из того, что он вообще присутствовал на концерте. Для простодушного принстонца, которому песенка «Люби меня, красотка» представляется вершиной музыкального искусства, любая симфония — мученическая мука, и Томми ждал начала концерта с суровой, героической улыбкой на устах.

— Тс-с-с! — взволнованно шикнула миссис Лепет.— Вот он!

Потрясенному Томми представилось, что он вдруг снова

очутился в окопах под массированным артобстрелом: появление мосье Тибо ознаменовалось оглушительной канонадой аплодисментов.

Но потом восторженный грохот так же вдруг, на полувздохе, оборвался — весь зал словно хором охнул от изумления. Газеты не наврали: хвост и вправду был.

Про приезжего дирижера писали, что он прибегает к сценическим эффектам,— действительно, у него был потрясающе эффектный вид. Весь, с головы до ног, в черном (черной была даже крахмальная рубашка, личный подарок маэстро от Муссолини), он не просто шел между пультами, но лениво, плавно, величаво выступал, а через руку у него, непринужденно загибаясь, свисал знаменитый хвост — ну прямо черная пантера в летнем саду, таинственно покачивающая в такт шагам угольной обтекаемой головой, как покачивают все пантеры, прохаживаясь за прутьями решеток, и блеск его черных глаз не выражал ни радости, ни удивления. Дважды царственно кивнул он в ответ на овации, разразившиеся с новой силой. И в том, как он наклонял голову, Томми уловил какое-то неприятное сходство с принцессой Вивраканардой. Между тем дирижер повернулся к оркестру.

Зал вторично, еще громче, охнул. Потому что при повороте кончик его фантастического хвоста изящно проскользнул в невидимый карман и извлек оттуда черную дирижерскую палочку. Впрочем, Томми ничего этого не заметил. Он смотрел на принцессу.

Поначалу она даже не стала хлопать вместе со всеми, но теперь... Он никогда не видел ее в таком волнении. Она не аплодировала, а сидела, судорожно сцепив руки на коленях, и все ее тело было напряжено, как стальной прут, а голубые глаза с несказанной мучительной сосредоточенностью смотрели на мосье Тибо. Она словно замерла, затаила дыхание, у Томми даже мелькнула сумасшедшая мысль, что сейчас она взлетит, вспорхнет со своего кресла, как невесомая ночная бабочка, и бесшум-

но опустится подле мосье Тибо, чтобы с обожанием потереться своей гордой головкой о лацкан его черного фрака. Еще секунда, и ее состояние заметит даже миссис Лепет.

— Принцесса,— шепотом позвал он в испуге.— Принцесса!

Тело ее медленно расслабилось, глаза потухли, лицо вновь стало спокойным.

— Да, Томми? — откликнулась она своим обычным голосом. Но все-таки что-то в ней появилось такое...

— Ничего, только... а, черт... начинается!

В эту минуту мосье Тибо, непринужденно сложив перед собою руки, снова обернулся лицом к публике. Опустил глаза. Широко взмахнул за спиной хвостом. И трижды призывно постучал об пол дирижерской палочкой.

Давно не принимали Глюковскую увертюру к «Ифигении в Авлиде» с такими шумными овациями. А когда дошла очередь до Восьмой симфонии, публика была просто в истерике. Никогда еще Новый Симфонический оркестр не играл так превосходно, но и такого гениального управления он тоже, надо сказать, до сих пор не знал. Еще не дошли до финала, а уже в зале три дирижера с мировым именем рыдали от восторга и отчаяния, как завистливые школьники, а один из них горячо сулил присутствовавшему здесь же хирургу, специалисту по лицевой пластике, десять тысяч долларов, если тот докажет, что наука может, худо ли бедно, но нарастить хоть какое-то подобие хвоста тем, кто бесхвост от рождения. Ибо сомневаться не приходилось: рука смертного, пусть даже самая развитая, никогда не достигнет того сочетания нежной силы и могучей грации, какое являл в каждом своем колебании хвост мосье Тибо.

Точно черная молния, он исторгал из медных громовые раскаты, точно эбеновое кнутовище, выбивал из деревянных сладостную мелодию до последнего замирающего вздоха и властно правил трепетными струнными, точно ски-

петр волшебного царя.

Мосье Тибо все кланялся и кланялся — зал сотрясали залпы восторженных рукоплесканий,— а когда изнемогший маэстро ушел за кулисы, председательницу клуба «Сонатные среды» понадобилось держать за руки и за ноги, чтобы она в эстетическом экстазе не швырнула ему вслед свое жемчужное колье стоимостью в девяносто тысяч долларов. Нью-Йорк пришел, увидел и... был побежден. Миссис Лепет осадили репортеры, а Томми Брукс уже предвкушал скорую встречу с новым героем дня на приеме «в узком кругу», и у него было такое тяжелое чувство, будто его ждало не место за обеденным столом, а электрический стул.

Встреча между его принцессой и мосье Тибо прошла и хуже, и лучше, чем он опасался. Лучше — потому что они на поверку почти не разговаривали друг с другом, а хуже — потому что, как ему показалось, некое загадочное родство душ меж ними делало ненужным всякий разговор. Он склонился к ее руке, и все взгляды восторженно устремились на них.

— Какая дивно экзотическая парочка! — умилялась миссис Свист.— И ведь совсем разные!

Но тут Томми не мог с ней согласиться.

Они, конечно, были разные, спору нет: он, вихляющийся брюнет с фантастическим придатком сзади, конец которого небрежно заправлен в карман, и она, голубоглазая красавица в короне каштановых волос. Но этим различием только подчеркивалось то общее, что их объединяло,— какая-то характерность походки, вкрадчивые жесты, особенный разрез глаз. Общность даже не расовая, а гораздо глубже. Томми сначала не мог ухватить, в чем ее суть, но потом, обведя взглядом гостей, вдруг понял: эти двое отличались от остальных и казались чужеродными не только Нью-Йорку, но и вообще всему человеческому. Точно вежливые гости с другой планеты.

Словом, Томми Брукс провел не очень-то приятный вечер. Но он соображал довольно медленно, и ему только постепенно со всей ясностью открылось одно невероятное подозрение.

Впрочем, не стоит ему особенно пенять за непонятливость. Последовавшие несколько недель были для него временем мучительных недоумений. И не то чтобы принцесса Вивраканарда к нему переменилась — нет, она была с ним так же снисходительна, как прежде, добавилось только постоянное присутствие мосье Тибо. У него была способность появляться внезапно, словно материализуясь из воздуха,— при своем росте, он передвигался легко и беззвучно, как бабочка,— и Томми испытывал глухую ненависть, когда слышал еле уловимый шорох шагов по ковру, предвещающий его приход.

И потом, он был весь такой невозмутимый и обтекаемый, черт бы его драл! Ничем его не возьмешь, не заденешь. Обходился с Томми всегда крайне вежливо, а в глазах, в самой глубине,— издевка. Что тут будешь делать? Принцессу же Вивраканарду день ото дня явно все больше притягивал этот приезжий, они, похоже, общались друг с другом без слов — Томми это видел и бесился, но опять же поделать ничего не мог.

Не только мосье Тибо во плоти, но даже и дух его донимал Томми Брукса. Бедняга потерял сон, а когда все же засыпал, ему являлся мосье Тибо, и не в человеческом обличье, но как призрак, как тень неуловимого неземного существа, и цедил слова сквозь остроконечные мелкие зубы. Что ни говори, в нем, бесспорно, было что-то такое... особенное, в его грации, в форме головы, даже в заостренных ногтях,— но на что это все было похоже, Томми никак не мог припомнить, сколько ни напрягал мозги. Да и когда припомнил в конце концов, тоже поначалу сам себе не поверил.

Укрепили его в подозрениях, вопреки всякому здравому смыслу, два совершенно пустяковых происшествия. Как-то

темным зимним вечером он отправился к своей тетке миссис Лепет в надежде застать там принцессу Вивраканарду.

Дамы куда-то уехали, но должны были вернуться к чаю, и Томми, решив их дождаться, заглянул от нечего делать в библиотеку. Он уже протянул было руку, чтобы включить свет, ибо в библиотеке всегда, даже летом, было темно, как вдруг услышал, что в углу, где кожаная кушетка, кто-то словно бы тихо дышит. Он приблизился на цыпочках и различил в темноте, что на кушетке, свернувшись калачиком, мирно спит мосье Тибо.

Томми в сердцах негромко чертыхнулся и поспешил убраться из библиотеки, но на пороге неприятное, всем нам знакомое чувство, что кто-то смотрит тебе в спину, заставило его остановиться. Он обернулся — мосье Тибо лежал совершенно в том же положении, но только с открытыми глазами. И были эти глаза не черные, как раньше, и не человеческие, а зеленые, Томми мог бы поклясться, и бездонные и светились в темноте, точно два изумрудика. Так продолжалось всего одно мгновенье, потому что Томми с перепугу нажал выключатель — мосье Тибо, человек как человек, сидел на кушетке, позевывая и извиняясь. Но все-таки Томми успел кое о чем подумать. А то, что случилось немного погодя, тоже не добавило ему душевного равновесия.

Они беседовали вдвоем у растопленного камина. Томми до того ненавидел теперь мосье Тибо, что испытывал постоянную потребность в его обществе, как нередко бывает в таких случаях. Мосье Тибо рассказывал анекдот, а Томми слушал и ненавидел его еще сильнее за то, что тот так упивается теплом очага и переливами собственного голоса.

Вдруг послышался звук открываемой парадной двери, мосье Тибо вскочил — и при этом, зацепившись за шишечку медной каминной решетки, наугол разорвал носок. Томми машинально взглянул на его ногу — только мель-

ком, но и этого было достаточно,— а мосье Тибо, впервые за время их знакомства, вдруг потерял всякое самообладание, изменился в лице и выругался на каком-то шипящем иностранном языке, зажав дырку ладонью. Потом бросил на Томми испепеляющий взгляд и пулей вылетел из комнаты, и слышно было, как он большими легкими скачками мчится вверх по лестнице.

Томми грохнулся обратно в кресло, несмотря на то что в прихожей раздался мелодичный смех принцессы. У него не было желания видеть принцессу. Он никого не хотел сейчас видеть. Потому что под носком мосье Тибо открылось нечто, нисколько не похожее на человеческую кожу. Там было, Томми успел заметить, что-то вроде черного меха. Или черного бархата. Да еще эта внезапная вспышка ярости... Боже милостивый, неужто этот господин носит поднизом черные бархатные чулки? А может быть... может быть, он вообще... И Томми сжал ладонями свою воспаленную голову.

В тот же вечер Томми явился к профессору Свисту с целым рядом гипотетических вопросов, но признаться в своих настоящих подозрениях не посмел, и от профессора услышал лишь столь же гипотетические ответы, и в итоге совсем запутался. Но тут он вспомнил про Билли Мистика. Билли был славный малый и имел склонность ко всякой небывальщине. Не исключено, что Билли ему поможет.

Трое суток ушло на то, чтобы изловить Билли, и все это время Томми Брукс жил как в лихорадке. Но вот наконец они сговорились пообедать вместе у Билли на квартире, где он хранил всякие чудны́е книги, и Томми вывалил перед приятелем весь ворох своих диких подозрений.

Билли слушал и не перебивал. И только когда Томми кончил, он затянулся трубкой и произнес:

— Ну, знаешь ли, мой милый...

— Знаю, знаю,— замахал руками Томми.— Конечно, я спятил, можешь мне не доказывать... Но говорю тебе, он — кот. Как это может быть? Понятия не имею, но факт... Черт возьми, у него вон даже хвост есть!

— Так-то оно так,— покачал головой Билли, выдыхая дым.— Милый Томми, я нисколько не сомневаюсь, что ты действительно видел — или вообразил, будто видишь,— то, о чем рассказываешь. Тем не менее...

Он покачал головой.

— Но ведь бывает же! Всякие там оборотни, волко-человеки...

Билли задумался.

— М-да, пожалуй. Это, конечно, сильный довод. Если у человека хвост... Легенды о волках-перевертнях известны с достаточно давних пор. Нет, я лично не отрицаю существования оборотней ни в прошлом, ни в настоящем. Я вообще допускаю, что бывают разные странности... Но вот коты-оборотни? Человеко-коты и кото-человеки? Все-таки вряд ли, по совести сказать.

— Но если я не получу дельного совета, то просто рехнусь, честное слово! Богом заклинаю, скажи, что мне делать?

— А это сейчас попробуем сообразить. Во-первых, так. Ты на все сто уверен, что он... это самое?..

— Кот? Точно.— Томми энергично кивнул.

— Ясно. Теперь во-вторых. Ты, извини за прямоту, опасаешься, что в твоей пассии тоже есть что-то... э-э-э... кошачье, отчего она и тянется к этому типу?

— Господи, Билли! О том и речь, что я не знаю.

— Хорошо-с. Ну, а если, допустим, это правда, твое отношение к ней остается неизменным?

— Да я готов жениться, даже если она каждую среду оборачивается драконшей! — страстно произнес Томми.

Билли улыбнулся.

— Ну, а раз так, значит, очевидно, надо этого мосье Тибо устранить. Не мешай, я буду думать.

Думая, Билли скурил подряд две трубки, и все это время Томми ерзал на стуле, будто сидел на булавках. Наконец Билли вышел из задумчивости и рассмеялся.

— Что это тебя так забавляет? — обиделся его друг.

— Ничего. Просто меня осенила одна мысль... сумасшедшая, конечно... но если он — то, что ты думаешь... глядишь, и сработает, кто знает.

Он подошел к шкафу и снял с полки книгу.

— Ты что, надумал почитать мне для успокоения нервов сказочку на сон грядущий?..

— Замолчи-ка, Томми, и вот послушай, что здесь говорится... если, конечно, вправду хочешь избавиться от своего приятеля из семейства кошачьих.

— А что это за книга?

— Сочинение Агнессы Реплийэ. О кошках. Слушай: «Существует также и скандинавская версия этого сюжета, который сэр Вальтер Скотт рассказал Вашингтону Ирвингу, а Шелли услышал от Льюиса, автора «Монаха». В той или иной форме этот сюжет содержится в фольклоре всех народов. Сводится он к тому,— теперь слушай внимательно, Томми! — что один путешественник, очутившись в разрушенном монастыре, оказывается свидетелем того, как процессия кошек опускает в могилу маленький гроб с короной на крышке. Перепуганный, он спешит прочь оттуда и, добравшись наконец до таверны, рассказывает хозяину о том, что видел. Едва он договорил, как хозяйский кот, мирно дремавший у очага, вдруг вскочил, воскликнул: «Значит, теперь я — Кошачий король!» — и исчез в печной трубе».

— Ну как? — спросил Билли, захлопнув книгу.

— А что? — У Томми глаза полезли на лоб.— Ей-богу! Думаешь, подействует?

— Я лично думаю, что мы с тобой оба не в своем уме. Но хочешь, можно испытать.

— Да я шарахну в него этой штукой при первой же встрече! Вот только... разрушенный монастырь... Не со-

всем убедительно, а? Откуда он мог тут взяться?

— Господи! Где твоя фантазия? Придумай какое-нибудь другое место. Центральный парк, например, мало ли. Сделай вид, будто это произошло с тобой, будто ты своими глазами видел такую похоронную процессию. Надо как-то подвести к этому в разговоре... постой-ка... скажем, так: Удивительно, как жизнь подчас повторяет литературу. Я вот не далее как вчера... В таком духе. Понятно?

— Удивительно, как жизнь подчас повторяет литературу,— старательно воспроизвел Томми.— Я вот не далее как вчера...

— ...прогуливаясь в Центральном парке, наблюдал очень странное зрелище.

— ...прогуливаясь в Центральном парке... Погоди, я возьму записную книжку,— сказал Томми.— Надо будет выдолбить наизусть.

С предстоящим прощальным приемом, который миссис Лепет давала в честь прославленного мосье Тибо по случаю его отбытия в турне на запад, связывались большие ожидания. Мало того, что там соберется весь свет, включая принцессу Вивраканарду, но еще миссис Лепет, мастерица по тонким намекам, не скрывала, что во время обеда, возможно, будет сделано одно чрезвычайно интересное объявление. Так что гости на этот раз все явились вовремя — все, кроме Томми Брукса. Он приехал на четверть часа раньше назначенного срока, потому что хотел переговорить с теткой с глазу на глаз. Однако, к сожалению, не успел он снять пальто, как она принялась торопливо нашептывать ему на ухо какую-то потрясающую новость, и он из ее скороговорки не сумел ничего толком разобрать.

— Но смотри, до объявления никому ни звука,— радостно заключила миссис Лепет.— Я полагаю, лучше всего его сделать к салату. Салат не требует особенной сосредоточенности.

— Ни звука — о чем, тетя Эмили? — не понял Томми.

— Да о принцессе, мой милый. О нашей дорогой принцессе и о мосье Тибо. Они сегодня обручились, какая прелесть, верно?

— Угу,— ответил Томми и хотел было выйти в первую попавшуюся дверь.

— Не сюда, дорогой,— остановила его тетушка.— Сейчас лучше в библиотеку не входить. Ты их потом поздравишь. Пусть они посидят там, помилуются наедине.

И она поспешила вон донимать дворецкого, а подавленного Томми предоставила самому себе.

Потом он спохватился, что рано вешать нос, дело еще не проиграно.

— «Удивительно, как жизнь подчас повторяет литературу...» — мрачно пробормотал он, чтобы не забыть, и при этом погрозил кулаком двери в библиотеку.

Но миссис Лепет, как всегда, ошибалась. Принцесса и мосье Тибо были не в библиотеке, а в зимнем саду, и Томми Брукс наткнулся на них, когда забрел туда, ища, как бы убить время.

Он вовсе не хотел подглядывать и, постояв всего одну секунду, повернулся и вышел обратно через стеклянные двери. Но и секунды было довольно.

Тибо сидел в кресле, а она — на скамеечке у его ног, и он своей лапой легко и плавно гладил ее каштановые волосы. Черный кот и сиамская кошечка. Лицо ее было от Томми скрыто, зато он видел его лицо. И слышал звук. Они не разговаривали, но вокруг них стояло какое-то теплое, довольное гудение, подобное жужжанию диких пчел в дуплистом стволе,— Тибо гортанно, мелодично, бархатисто урчал, а она томно мурлыкала в ответ.

Томми опомнился только в гостиной, когда уже здоровался за руку с миссис Бомбардо, которая чистосердечно призналась ему, что никогда не видела его таким бледным.

Первые две перемены прошли для Томми как сон, но обеды миссис Лепет славились отличными винами, и к середине мясного блюда Томми Брукс немного пришел в се-

бя. Теперь у него не оставалось никакого другого выхода.

Он сделал несколько безуспешных попыток вмешаться в разговор, но чтобы прервать миссис Лепет, надо быть, по крайней мере, архангелом Гавриилом, да и то попотеешь. Наконец она остановилась перевести дух, и Томми решил воспользоваться моментом.

— Могу заметить по поводу того, о чем идет речь,— громко сказал он, хотя, о чем идет речь, не имел ни малейшего понятия.— Могу заметить...

— Вот я и говорю,— попробовал было продолжить свои рассуждения профессор Свист. Но Томми был не намерен отступаться. Уже собирали тарелки. Сейчас подадут салат.

— По поводу того, о чем идет речь! — так оглушительно гаркнул он, что миссис Бомбардо прямо вздрогнула, и за столом установилось неловкое молчание.— Удивительно, не правда ли, как подчас жизнь повторяет литературу.— Уф, главное — начать. Томми еще сильнее напряг голосовые связки.— Не далее как сегодня, гуляю я...— И он слово в слово пересказал затверженный урок. При этом он видел, как зажглись глаза мосье Тибо, когда он описывал похороны. А принцесса тревожно вытянула шейку.

Трудно сказать, чего он ждал от своего рассказа. Но уж во всяком случае, не скучливой, холодной тишины, которую подытожил вопрос миссис Лепет:

— Ну, Томми, ты уже кончил?

Томми огорченно откинулся на спинку стула. Он остался в дураках. Последнее средство не подействовало. Смутно прозвучал теткин голос: «А теперь...» Томми понял, что сейчас будет сделано роковое сообщение.

Но тут вмешался мосье Тибо.

— Минуточку, миссис Лепет,— произнес он со своей всегдашней любезностью. Тетка замолчала. А он обратился к Томми.— Вы совершенно убеждены, что все было именно так, как вы рассказали, Брукс? — спросил он насмешливо.

— Стопроцентно,— ответил, насупившись, Томми.— Неужели я стал бы...

— Нет-нет.— Мосье Тибо рукой отвел подобное допущение.— Но ваш рассказ меня так заинтересовал... Хотелось бы удостовериться, что я ничего не перепутал... Вы действительно, абсолютно уверены, что на крышке гроба была, как вы описываете, корона?

— Ну да,— растерянно подтвердил Томми, хлопая глазами.

— Значит, теперь я — Кошачий король! — вскричал мосье Тибо голосом, подобным раскату грома, и в тот же миг все лампы потускнели — на галерее раздался приглушенный, словно ватный взрыв — залу на миг озарила резкая, слепящая вспышка света, и повалили густые, плотные клубы белого едкого дыма.

— Ах, уж эти мне фотографы! — звонко простонала миссис Лепет.— Я им велела не снимать с магнием до окончания обеда, а они щелкнули нас, как раз когда я укусила листик латука!

За столом послышались нервные смешки. Кто-то закашлялся. Но постепенно завеса дыма развеялась, и черно-зеленые круги перед глазами Томми Брукса пропали.

Гости смотрели друг на друга, моргая, словно только что выбрались на солнечный свет из темной пещеры. Глаза у всех слезились от внезапной иллюминации, Томми с трудом различал лица тех, кто сидел против него.

Но миссис Лепет, проявив неизменное присутствие духа, снова взяла бразды правления обедом в свои руки. Подняв бокал, она встала и звонко произнесла:

— А теперь, дорогие друзья, я уверена, мы все будем счастливы поздравить...

Но так и замолчала с разинутым ртом. На лице ее застыло выражение ужаса и недоумения. Из покачнувшегося бокала на скатерть пролилась тоненькая золотистая струйка. Потому что, начиная свою речь, миссис Лепет обратилась туда, где сидел мосье Тибо,— а мосье Тибо за столом

больше не было.

Одни рассказывают про язык пламени, который якобы вдруг взметнулся в камине и ушел в дымоход; другие толкуют про огромного кота, будто бы одним скачком выпрыгнувшего через окно, не разбив стекла. Профессор Свист все объясняет таинственной химической реакцией, произошедшей в воздухе прямо над стулом мосье Тибо. Дворецкий, человек набожный, верит, что его унес дьявол собственной персоной; а миссис Лепет колеблется между колдовством и дематериализацией эктоплазмы зла, на другом космическом уровне. Но как бы там ни было, ясно одно: за краткое мгновенье всеобщей слепоты после вспышки прославленный дирижер мосье Тибо вместе со своим хвостом успел навсегда исчезнуть с глаз человеческих.

Миссис Бомбардо утверждает, что он был международный вор, и она как раз собиралась его разоблачить, когда он скрылся, воспользовавшись дымовой завесой от фотовспышки. Но никто из присутствовавших на историческом обеде в это не верит. Нет, убедительной разгадки предложено не было. Но Томми что знает, то знает и на каждую встречную кошку поглядывает с подозрением.

Миссис Томми — в девичестве Гретхен Текстиль из Чикаго — разделяет взгляд своего мужа на кошек, потому что Томми ей все открыл, и хотя она, конечно, не всему поверила, но у нее нет сомнений, что одна персона в этой истории — просто вредная кошка, и все. Разумеется, гораздо романтичнее получилось бы, если бы рассказать, как Томми проявил отвагу и завоевал свою принцессу,— но, увы, это было бы неправдой. Дело в том, что принцессы Вивраканарды тоже больше нет среди нас. После того как столь драматически завершился обед у миссис Лепет, принцессины нервы совершенно расстроились, и она вынуждена была отправиться в морское путешествие, из которого так никогда и не вернулась обратно в Америку.

Ну и, понятно, пошли, как обычно, всякие разговоры. Чего только не услышишь, и что она-де теперь монахиня

в Сиаме, и нагая танцовщица под маской из «Вертограда моей сестры», и что она убита в Патагонии, и живет замужем в Трапезунде. Но насколько удается проверить, ни в одной из этих версий нет ни крупицы правды. А Томми, я знаю, в глубине души твердо верит, что морское путешествие — это только так, для отвода глаз, на самом же деле она каким-то неведомым образом умудрилась последовать за своим ужасным мосье Тибо, куда бы он там ни скрылся в этом или ином мире, и что где-то на развалинах бывшего города или в подземном дворце они и сегодня правят бок о бок, король и королева всего загадочного кошачьего народа. Но разве это может быть?

Колокол поздний...*

Недостаточно обладать гением, гениальная личность должна соответствовать обстоятельствам эпохи. И Александр Великий не обеспокоил бы собою свет, случись ему родиться в период устойчивого мира, а Ньютон, выросший среди воров, открыл бы лишь новый вид отмычки.

Джон Кливленд Коттон. «Раздумья об истории».

(Нижеследующее представляет собой отрывки из писем генерала сэра Чарльза Вильяма Джеффри Эсткорта, кавалера ордена Бани, к его сестре Гарриетте, графине Стокли, публикуемые с разрешения семьи Стокли. Пропуски текста обозначены многоточиями, итак...)

Сен-Филипп-де-Бэн,
3 сентября 1788 г.

Любезная сестра... Я бы пожелал моему высокочтимому парижскому врачу избрать мне для восстановления здоровья иное место. Но коль скоро уповаешь на врача, а врач уповает на сен-филипповы воды, изволь зевать два месяца в отшельничестве, покуда не поправишься. Однако ж Вы будете получать от меня длинные и, боюсь, довольно скуч-

* Название рассказа «The Curfew Tolls» представляет собой первые слова знаменитого стихотворения английского поэта Томаса Грея (1716—1771) «Элегия, написанная на сельском кладбище». В нем поэт выражает сочувствие к тем простолюдинам и сельским жителям, которые, даже будучи наделены незаурядными способностями, не в состоянии были применить их в жизни, сделаться великими, достичь славы, поскольку принуждены были проводить свои дни в рутинной крестьянской работе, в борьбе за хлеб насущный. И в названии, и далее в тексте использован перевод В. А. Жуковского. («Колокол поздний кончину отшедшего дня возвещает...»)

ные письма. Я не доставлю Вам новостей ни Бадена, ни Экса — когда бы не купальни, Сен-Филипп ничем бы и не разнился от дюжины других белокаменных городков приятного здешнего побережия. Есть тут хорошая гостиница — но вместе есть и плохая; пыльный, покусанный блохами нищий обосновался на столь же пыльной, тесной площади; имеются здесь и почта, и набережная, утыканная тощими липами и пальмами. С высоты при ясном небе видима бывает Корсика, а Средиземное море блистает несравненной голубизной. Все это, впрочем, довольно приятно, а уж ветерану Индийской кампании, каковым является Ваш покорный слуга, жаловаться не пристало. Хорошее обхождение встречаю я в Cheval Blanc* — или я не английский милорд? — да и почтеннейший Гастон преданно мне служит. И все же, пока не сезон, эти городки на водах уподобляются сонному царству, где галантные наши враги, французы, умеют гноить себя лучше, нежели любая нация в целом свете. Возможно ль, чтоб каждодневное прибытие тулонского дилижанса представало волнующим событием? Однако ж, клянусь, оно волнует и меня, и весь Сен-Филипп. Прогулки, воды, чтение Оссиана**, пикет с Гастоном — и, вопреки всему тому, я нахожу себя полумертвым...

...Вы, верно, скажете с улыбкой: «Любезный братец, Вы стяжали себе лавры исследователя человеческой натуры. Так ли уж нечего исследовать в Сен-Филиппе — будь то общество, будь то характер?» Любезная сестра, всей душой стремлюсь к этой цели, но пока почти без успеха. Беседую с доктором — и вижу человека добродетельного,

* «Белая лошадь» *(франц.)* — название гостиницы.

** Оссиан — легендарный поэт-воин, герой кельтского эпоса. В Европе это имя стало известным в 1762 году, когда шотландский поэт Макферсон «открыл» и опубликовал поэмы Оссиана, будто бы переведенные с гэльских оригиналов III века. В действительности эти произведения, хотя и основанные частично на настоящих гэльских балладах, представляли собой сочинения самого Макферсона и изобиловали заимствованиями из Гомера, Мильтона и Библии.

но неотесанного; беседую с кюре — и он добродетелен, но вместе и тупоумен. Пытал я счастье и в обществе на водах, начав с мосье маркиза де ла Перседрагона, дворянина в пятнадцатом колене, который ничем бы не был примечателен, кабы не грязные манжеты да угрюмое любопытство к моей печени, и кончая миссис Макгрегор Дженкинс, достойнейшей краснолицей леди, чей разговор являет собой канонаду из имен герцогов и герцогинь. Впрочем, сказать по чести, кресло в саду и том Оссиана всякого из них мне заменят с лихвою, пусть даже от этого прослыву я нелюдимом. Любой подлец, будь он остроумен, показался бы мне сущим подарком судьбы, но найдется ли таковой в Сен-Филиппе? Полагаю, что едва ли. Как бы то ни было, из-за общей моей ослабленности ежеутренний приход Гастона, доставляющего мне целый ворох деревенских сплетен, несказанно оживляет меня. «До чего же может довести себя человек,— скажете Вы,— некогда служивший с Эйром Кутом*, и, ежели бы не превратности фортуны, не говоря уже о кучке гнуснейших интриганов...» (Здесь опущен длинный пассаж, касающийся службы генерала Эсткорта в Восточной Индии и его личного неблагоприятного мнения об Уоррене Гастингсе**.) ...Однако ж в пятьдесят лет всяк — дурак либо философ. Но если уже и Гастон мне не характер для упражнения ума, я и впрямь уверюсь, что ум у меня высушило индийское солнце.

21 сентября 1788 г.

Любезная сестра... Поверьте, мнение Вашего друга лорда Мартиндейла не имеет под собою никакого основания. Хотя и непозволительно сравнивать французскую монархию с своею собственной, но король Людовик — превос-

* Кут, сэр Эйр (1726—1783) — английский военный деятель, участник завоевания Индии. Прошел путь от солдата до генерала.

** Уоррен Гастингс (1732—1818) — участник англо-французской войны за Индию, первый губернатор Британской Индии.

ходный и всеми любимый правитель, предполагаемый же созыв Генеральных Штатов не может не возыметь наижелательнейшего действия... (три страницы о политике и перспективах выращивания сахарного тростника на юге Франции опускаются). ...Что до меня, то я продолжаю принимать курс зевоты, со всем этим чувствуя несомненное улучшение от вод... Итак, я намерен продолжать лечение, хотя поправляюсь я медленно, слишком медленно...

Вы спрашиваете меня, и, опасаюсь, не без насмешки, продвинулся ли я в изучении натуры человеческой?

И здесь есть чем похвалиться — я наконец-то свел знакомство с одним чудаком — разве не триумф это для Сен-Филиппа? В течение некоего времени я примечаю, сидя в кресле на набережной, небольшого тучного субъекта, как будто одних со мною лет, который прохаживается туда и назад среди лип. Его общества, очевидно, бегут местные аристократы, подобные миссис Макгрегор Дженкинс. Я его принял было за удалившегося на отдых актера, ибо и платье, и походка его выказывают неуловимую театральность. Одеждой ему служат широкие нанковые панталоны да сюртук полувоенного покроя, на голове соломенная широкополая шляпа. Он принимает воды так же церемонно, как и мосье маркиз, хотя его ton при этом иной. Узнаю в нем южанина; как и подобает истинному сыну Midi*, уже миновавшему пору голодной, тощей юности, он обладает живыми темными глазами, бледной кожей, характерной осанкой и заносчивостью.

И все же печать некоего неуспеха отмечает его, ставя вне преуспевающего общества привычных нам буржуа. Я не разобрал пока еще, что именно возбуждает здесь мой интерес.

Так вот, в то утро я помещался в кресле за чтением Оссиана, тогда как он одиноко бродил по набережной. Без сомнения, излюбленный мой поэт захватил мое вообра-

* юга *(франц.)*.

жение еще более обычного, так что иные строки я произнес вслух в ту минуту, как незнакомец поравнялся со мной. Он бросил на меня быстрый взгляд — и не более. На следующий же раз он готов был уже снова миновать меня, однако, поколебавшись, остановился, снял соломенную шляпу и приветствовал меня с необыкновенной учтивостью.

«Мосье простит меня,— сказал он с угрюмою степенностью,— но мсье, без сомнения, из Англии? И строки, произнесенные вами сию минуту, без сомнения, принадлежат перу великого Оссиана?»

Я согласился с улыбкою, он же снова поклонился.

«Да простит мне мосье вторжение,— сказал он,— но с давних пор и я состою почитателем его поэзии». Засим он продолжил цитату мою до конца строфы и на весьма правильном английском языке, хотя бы и с сильным акцентом. Я, понятно, рассыпался в похвалах — ибо далеко не каждый день встречаем мы почитателей Оссиана на набережных французских курортов,— после чего он опустился в кресло рядом со мной и мы предались беседе. Как это ни удивительно для француза, он явил превосходное знакомство с нашими английскими поэтами. Он, верно, служил когда-то гувернером в английской семье. Впрочем, для первой нашей встречи я старался не докучать ему вопросами, хотя и заметил, к своему недоумению, и во французской его речи легкий акцент.

Не скрою, он обнаруживает подчас нечто низменное, невзирая на живость и возвышенность его разговора. Видны здесь и болезнь, и, если не обманываюсь, разочарование, но все же, когда он говорит, глаза его осенены неким странным вдохновением. По моему разумению, встретиться с ним в guet-apens* было бы явно нежелательным, но может и статься, что я вижу перед собой безобиднейшего из отставных педагогов. Мы с ним приняли по стакану воды, к вящему отвращению миссис Макгрегор Дженкинс,

* засаде *(франц.)*.

брезгливо подобравшей юбки. Впоследствии она весьма многословно осведомила меня, что мой новый знакомец есть известный всем бандит, не присовокупив, однако, к сему иных резонов, кроме тех, что он живет за городом, что «неизвестно, откуда он взялся», что жена его такова, «как и следовало ожидать», что бы ни скрывала в себе эта зловещая фраза. Едва ли, конечно, он может быть назван джентльменом, даже применяясь к облегченным образцам миссис Макгрегор. Но ни один из моих собеседников прошедшего месяца не превзошел его в уме, а коль скоро он есть бандит, что ж, потолкуем немного и об индийских разбойниках-душителях. Надеюсь, впрочем, обойтись без волнующих предметов. Расспрошу-ка о нем Гастона...

11 октября

...Но Гастон сообщил мне немногое: знакомый мой родом с Сардинии или подобного такого же острова, служил когда-то во французской армии, в народе же слывет обладателем дурного глаза. Слуга мой намекнул, что многое знает об его жене, но здесь я не настаивал. В конце концов, ежели знакомый мой окажется р-г-нс-цем,— постарайтесь, дорогая, не краснеть! — и в этом тоже удел философа. Вопреки всему, я нахожу беседу с ним куда приемлемей, нежели разогретые лондонские сплетни миссис Макгрегор Дженкинс. Он и взаймы-то ни разу не попросил, к чему я, признаться, приготовился и уже рассчитывал отказать...

20 ноября

...Триумф! Характер найден — и, доложу я Вам, превосходнейший! Я зван был к обеду, обед же оказался из наихудших. Жена его — хозяйка никудышная, не знаю, в чем ином она преуспевает. Впрочем, с одного взгляда

видно становится, в чем она имела преуспеть, ибо всевозможные ужимки поблекшей гарнизонной кокетки предстали глазам моим. Нрав она имеет, конечно, легкий, что нередко встречается у подобных женщин, видно, что в лучшие времена была она недурна собой, хотя зубы имеет прескверные. Я заподозрил в ней примесь негритянской крови, но не берусь утверждать это наверное. Вне сомнения, мой друг попался ей смолоду, таковое видывал я и в Индии частенько: опытная дама в паре с молоденьким новобранцем. Впрочем, довольно — много воды утекло с тех пор, мадам его по-своему мила, хотя несомненно, что и она стала преградою на пути его вверх.

После обеда мадам с неохотою удалилась, а хозяин пригласил меня в кабинет для беседы. Он извлек даже бутылку портвейна со словами об известной всем любви к нему англичан. Я тронут был вниманием, пусть это был даже не «Кокберн». Приятель мой одинок безнадежно, большие его глаза выдают это обстоятельство. Он и безнадежно горд; скорая, разительная чувствительность неудачника видна в нем, я же, как мог, старался вызвать его на откровенность.

И вправду, усилия мои были возданы. История его проста. Он не бандит, не педагог, но, подобно мне, отставной солдат. Майор французской королевской артиллерии, ныне уже несколько лет в отставке на половине жалованья. Достигнутое им высокое звание делает ему честь, ибо он уроженец, как я уже писал, Сардинии, а у французской военной службы радушия к иностранцам сильно поубавилось со времен Первой ирландской бригады. Более того, по службе этой продвинуться нельзя нисколько, ежели ты не знатного роду, а приятель мой, видимо, лишен и сего. Но всю жизнь страстью его оставалась Индия, и это служит моему интересу. Это, клянусь, меня немало удивило.

Как только я, по счастливому случаю, упомянул о предмете, глаза его загорелись и самый недуг, казалось, отступил. Скоро он уже, доставая из ниши в стене географи-

ческие карты, осаждал меня вопросами касательно моего скромного военного опыта. А еще через некое время я, к своему конфузу, увидел себя спотыкающимся в ответах. Он, без сомнения, показывал знания книжные, но где он мог их добыть — ума не приложу. Не моргнув глазом, он то и дело даже меня поправлял. «На северной стене старинных мадрасских фортификаций помещается, я полагаю, восемь четырехдюймовых орудий»,— произносил он и нимало при этом не ошибался. Наконец я был не в силах долее сдерживаться.

«Это невероятно, майор,— воскликнул я.— Двадцать лет службы в Ост-Индской компании дают мне повод полагать, что я приобрел некоторые знания. Но вы! — вы как будто бы сражались за каждый дюйм бенгальской земли!»

Он бросил на меня взгляд почти негодования и стал сворачивать свои карты.

«О да! Но — мысленно,— кратко сказал он.— Высшие чины не уставали твердить мне, что забава сия скучна».

«Что до меня, я таковой ее не почитаю,— отозвался я.— Небрежение же вашего правительства к возможностям в Индии не однажды удивляло меня. Впрочем, сейчас дело это решенное...»

«Никоим образом»,— прервал он меня грубо. Я посмотрел на него вопросительно.

«Его решил, если не ошибаюсь, барон Клайв при Плеси*,— произнес я холодно,— а впоследствии мой старый генерал, Эйр Кут, при Вандеваше**».

«О да, да,— нетерпеливо подхватил он,— Клайв заслужил признания, он — гений, и его ждал удел гения. Он

* Роберт Клайв (1725—1774) — английский государственный и военный деятель, основатель английского владычества в Индии. Плеси — селение в западной Бенгалии. Здесь в 1757 году английские войска под командованием Роберта Клайва одержали решительную победу над набобом Бенгалии. Это событие проложило путь к захвату Бенгалии англичанами.

** Вандеваш — населенный пункт в Индии, где генерал Кут разбил французское войско в 1760 году.

похищает для вас империю, но добродетельный английский парламент воздевает в ужасе руки, ибо он похитил и несколько сот тысяч рупий для себя. Вот он застреливается, и вы теряете своего гения. Не жалко ли? Я бы так не обошелся с Клайвом. Однако ж, когда б я был милорд Клайв, я и не помыслил бы стреляться».

«Что же сделали б вы, будь вы Клайв?» — спросил я, находя развлечение в подобных дерзких фантазиях.

Угроза мелькнула в его глазах, и мне ясно стало, чем снискал он звание бандита в глазах достойнейшей миссис Макгрегор Дженкинс.

«О,— сказал он холодно,— я бы направил отряд гренадеров в ваш английский парламент и предложил бы им попридержать язык. Но Клайв — тьфу-ты! Быть хозяином положения и добровольно отступиться. Беру, впрочем, мои слова обратно. Не гений он вовсе, а растяпа. Он мог сделать себя хотя бы раджой».

Нетрудно вообразить, что это было слишком.

«Генерал Клайв не лишен недостатков,— объявил я ледяным тоном,— но он был настоящий британец и к тому же патриот».

«Глупец он был,— отозвался толстенький мой майор, выпячивая нижнюю губу,— подобный в своей глупости Дюпле*, а этим многое сказано. Военное искусство — да, в малой степени, талант организатора — да, но подлинный гений опрокинул бы его в море! Мы могли удержать Аркат**, выиграть Плеси — взгляните!»

С этими словами выхватил он из ниши другую карту и с горячностью принялся растолковывать мне, какие меры предприняли бы он, случись ему оказаться во главе французских войск в 1757 году, то есть в бытность его

* Ж. Ф. Дюпле (1696—1763) — французский колониальный администратор, главный управляющий французскими учреждениями в Индии.

** Аркат — населенный пункт в индийском княжестве Карнатик, захваченный англичанами в 1751 году.

двадцатилетним юношей. Стуча ладонью по карте, он выстраивал там и сям ряды пробок — взамен войска,— доставаемых из особой жестянки — свидетельницы давности игры его. По мере рассказа раздражение во мне иссякло ввиду очевидности наблюдаемой мною мономании. Признаться, применяясь к пробкам и картам, план кампании составлен был не без мастерства. В поле, разумеется, встречаем мы иное.

Берусь утверждать, положа руку на сердце, что в этом плане приметна была и новизна. Собеседник же мой, большой охотник поговорить, буквально захлебывался от слов.

«Вот, глядите,— бормотал он.— Ясно и болвану, как дóлжно было поступать. Будь флот и десять тысяч отборных войск, то и такой немощный, подобный мне...»

Он предался мечтам. От душевных усилий пот проступил на бледном его лице. Нелепым и вместе трогательным казалось мне зрелище моего мечтателя.

«Вы встретили бы известное сопротивление»,— заметил я удовлетворенно.

«Разумеется,— поспешил парировать он.— Англичан я ценю по заслугам: превосходная кавалерия, отличная пехота. Но артиллерия отстает, а я все же канонир...»

Не желая низвергать его с небес на землю, я чувствовал, однако, что пора.

«Ваш, майор, опыт в поле,— сказал я,— должен быть необъятен».

Он посмотрел на меня молча и с неколебимым высокомерием.

«Напротив, весьма невелик,— ответствовал он бесстрастно.— Но во всяком из нас либо есть знание своего дела, либо нет, и этого довольно».

Его большие глаза вновь остановились на мне. Без сомнения, он слегка помешан. И все же я нашелся спросить: «Как бы то ни было, майор, что произошло с вами?»

«Что происходит,— отвечал он не менее бесстрастно,— с тем, кому нечего поставить на карту, кроме способностей

ума? В молодости я пожертвовал всем ради Индии, там, мнилось мне, восходит моя звезда. Отрекся от всего, питался отбросами, чтобы попасть туда — corpo di Baccho!* — я ведь не де Роган и не Субиз**, чтоб заслужить королевский фавор. Наконец юношей я достиг индийских берегов и тотчас сделался одним из защитников Пондишери.— Он сардонически рассмеялся и отхлебнул портвейну.— Ваши соотечественники милостивы с пленниками,— продолжал он,— но до конца Семилетней войны, до 1763 года, я оставался заточенным. Кому надобно обменивать безвестного артиллерийского лейтенанта? Засим последовали десять лет гарнизонной службы на Маврикии. Я встретил там мадам, она креолка. Приятное, однако, место — Маврикий. Когда боеприпасы для учебных стрельб бывали в достатке, мы палили по морским птицам.— Он невесело усмехнулся.— Тридцати семи лет им пришлось произвести меня в капитаны и даже перевести во Францию. На гарнизонную службу. Ее нес я в Тулоне, Бресте...» — Перечисляя, он загибал пальцы на руке. Тон его мне не понравился.

«Позвольте,— сказал я,— а война в Америке? Хоть и малое дело, но не возможно ль было...»

«Кого ж послали они? — проговорил он быстро,— Лафайета, Рошамбо, де Грасса*** — отпрысков благородных семейств. Что ж, в года Лафайета и я бы сделался добровольцем. Успех надобен юным, а там — весна-то проходит.

* Клянусь Бахусом! *(итал.)*

** Л. Р. де Роган (1735—1803) — епископ Страсбургский, во время Французской революции — депутат Генеральных Штатов. Шарль де Роган Субиз (1715—1787) — принц, любимец мадам Помпадур, участник Семилетней войны.

*** Маркиз М. М. де Лафайет — французский генерал и политический деятель. В 1777 г., зафрахтовав корабль, отплыл с отрядом добровольцев в Америку, где участвовал в Войне за независимость. Жан Ж. Б. Рошамбо — французский маршал, участник Французской революции. Граф Ф. Й. де Грасс — участник многих колониальных морских сражений, участник Войны за независимость в Америке.

В сорок лет с лишком всякий имеет обязанности. У меня, например, большая семья, пускай и не я в том повинен.— Он улыбнулся каким-то потаенным своим мыслям.— Впрочем, я писал Континентальному конгрессу,— сказал он с задумчивостью,— но они предпочли фон Штойбена*, превосходного, честнейшего фон Штойбена, однако ж болвана. За что им и было воздано. Я также писал Британскому военному ведомству,— продолжил он ровным голосом.— Позже я намерен и вам показать мой план кампании. Генерал Вашингтон в три недели оказался б с тем планом разбит».

Обескураженный, я не отводил от него глаз.

«Офицер, что не гнушаясь платит шиллинг с портретом короля, посылая врагу план разгрома союзника своей страны,— сказал я сурово,— прослыл бы у нас изменником».

«А что есть измена? — спросил он равнодушно.— Не точнее ли назвать ее амбицией без успеха? — Он проницательно посмотрел на меня.— Вы, верно, потрясены, генерал,— сказал он.— Сожалею. Но знакомо ль вам проклятие,— голос его дрогнул.— Проклятие быть не у дел, когда должно быть — при деле? В пыльном гарнизоне сидя, лелеяли вы замыслы, способные и Цезаря с ума свести? Замыслы, которым не суждено было сбыться? Судьба молотка, лишенного гвоздей,— известна вам?»

«Да,— отозвался я невольно, ибо нечто в его словах понуждало к правдивости.— Все это мне знакомо».

«Тогда вам открыты бездны, неведомые христианину,— вздохнул он.— А ежели я изменник, что ж, наказание уже настигло меня. Мне дали бы бригадира, когда б не болезнь, следствие чрезмерных трудов,— не эта горячка, в которой пролежал я несколько недель. И вот я здесь, получаю половину жалованья, и не будет более войны на моем веку.

* Ф. В. фон Штойбен — генерал, участник Семилетней войны и Войны за независимость в Америке.

К тому же Сегюром* объявлено, что офицеры отныне должны быть дворяне в четвертом поколении. Что ж, пожелаем им выиграть следующую кампанию усилиями сих офицеров. Я тем временем пребываю наедине с пробками, картами и наследственным своим недугом.— Он улыбнулся и хлопнул себя по животу.— Моего отца он убил тридцати девяти лет. Со мною вышла заминка, но скоро придет и мой черед».

И верно, заметно стало, как огонь его глаз погас и щеки обвисли. Мы еще с минуту поболтали о предметах малозначащих, после чего я простился, задавая себе вопрос, не стоит ли прекратить сие знакомство. Безо всякого сомнения, характер он изъявляет незаурядный, но кое-какие его речи мне претят. Притягательная сила его очевидна, даже притом, что флер великого невезения скрывает от нас его истинный облик. Но почему же называю я его великим? Его тщеславие и впрямь велико, но какие надежды мог он связывать со своею карьерой? Выраженье его глаз, однако, нейдет из моей головы... Говоря по совести, он озадачил меня, породив твердое намеренье добраться до сути...

12 февраля 1789 г.

...Недавно я приобрел новейшие сведения касательно моего друга майора. Как я уже писал, я приготовился было прекратить знакомство, но назавтра он настолько был учтив при встрече со мной, что я не мог измыслить повода. С той поры я был избавлен от дальнейших изменнических откровений, хотя при обсуждении нами военного искусства сталкивался всякий раз с его несказанным высокомерием. Он даже сообщил мне на днях, что Фридрих Прусский, хотя и будучи сносным генералом, нуждался в совершенствовании своей тактики. В ответ я лишь рассмеялся и сме-

* Сегюр Л. Ф. (1753—1830) — граф, участник Войны за независимость в Америке, позже посол в Санкт-Петербурге.

нил тему разговора.

Временами мы играем в войну посредством пробок и карт. Всякий раз поддельное мое поражение производит в нем почти детский восторг... Невзирая на водолечение, недуг его, видимо, усугубляется, а рвение его к моему обществу живо трогает мою душу. Он человек большого ума и вместе с тем принужден был всю жизнь водить компанию с низшими. По временам это должно было лишать его терпения...

То и дело размышляю о том, какой жребий выпал бы ему на гражданском поприще. Он обнаруживает задатки актера, однако ж его рост и телосложение весьма несообразны трагическим ролям, а юмор комедианта ему недоступен.

Лучший для него путь, верно, был бы в служении католической церкви, где последний из рыбаков может рассчитывать на ключи от св. Петра...

Впрочем, видит бог, из него вышел бы скверный священник...

Но возвращаюсь к своему повествованию. Лишенный привычной его компании в течение нескольких дней, я зашел к нему однажды вечером осведомиться о причине. Дом его называется «Св. Елена» — здешняя жизнь полна святых имен. Я не слышал ссорящихся голосов до той поры, пока растрепанный лакей не провел меня в дом, когда поздно уж было б ретироваться. Сейчас же, прогрохотав по коридору, явился и приятель мой. Гнев и усталость отражались на бледном лице его.

При виде меня его выражение разительно переменилось. «Ах, генерал Эсткорт! — вскричал он.— Что за удача! Я давно уж ожидал вашего визита, ибо желаю представить вас моей семье».

Он рассказывал мне прежде о двух неродных детях от первого брака мадам. Сознаюсь, я любопытствовал их увидеть. Но, как скоро открылось, тогда говорил он не о них.

«Итак,— сказал он,— мои сестры и братья имеют собраться здесь на семейный совет. Вы пришли точно вовремя!»

Он сжал мою руку, всем своим видом выражая злорадную детскую naîveté*. «Они не верят, что я вправду вожу знакомство с английским генералом, вот так удар для них! — шептал он, шагая вместе со мной по коридору.— Ах, какая досада, что вы в цивильном платье и без ордена! Впрочем, нельзя требовать слишком многого!»

Ну, дорогая моя сестра, что за сборище являла собой гостиная! Это была небольшая комната, неряшливо обставленная в сквернейшем французском вкусе. Там и сям громоздились безделушки мадам и сувениры Маврикия. Все сидели, как и принято у французов, за послеобеденным ромашковым чаем. Воистину неф св. Петра показался бы мал для этой команды! Здесь находилась старая мать семейства, прямая как аршин, с яркими глазами и горьким достоинством в лице, каковое нередко встречаем мы у итальянских крестьянок. Видно, все ее побаивались, кроме моего приятеля, изъявлявшего, однако, ей великую сыновнюю любезность, что немало говорило к его чести. Далее, присутствовали две сестры: одна толстая, смуглолицая и злобная, другая со следами былой красоты и знаками известной профессии в «роскошном» туалете и нарумяненных щеках. Упомяну еще мужа злобной сестры (Бюрá или Дюрá, владелец гостиницы, господин со скуластым, грубой красоты лицом и ухватками кавалерийского сержанта) и двух братьев моего героя, из коих один напоминает овцу, другой — лису, а оба вместе походили на моего приятеля.

Овцеподобный брат хотя бы более других приличен. Он служит адвокатом в провинции и гордится сверх меры недавним своим выступлением перед Апелляционным судом в Марселе. Лисоподобный занимается сомнительными де-

* наивность *(франц.)*.

лами, он, видно, из тех, кто шатается по пивным и несет вздор о правах человека в духе мосье Руссо. Я бы не доверил ему свои часы, хоть он и баллотируется в Генеральные Штаты. Что же касается до семейного согласия, делалось видно с первого взгляда, что ни один из них не верит остальным. Притом, что это еще не все их племя. Поверите ли, существуют еще два брата, из коих второй по меньшинству своими делами и произвел надобность в сем собрании. Он, видимо, паршивая овца даже среди этого сброда.

Уверяю Вас, голова моя закружилась, и даже будучи представлен кавалером ордена Подвязки, я не потрудился восстановить истину. Меня ввели сразу же в сей интимный круг. Старая леди продолжала покойно потягивать чай, как будто это была кровь ее врагов, но все прочие наперебой сообщали мне подробности жизни скандальной их семьи. Единодушие их сказывалось лишь в двух предметах — ревности к моему приятелю как фавориту маменьки и осуждении мадам Жозефины, которая слишком многое о себе мнит. Одна лишь увядшая красотка, хоть замечания ее в адрес невестки не стоит повторять, судя по всему, любит своего брата, майора; она долго толковала со мной о его достоинствах, распространяя вокруг запах духов.

Сообщество сие уподоблю разве банде итальянских контрабандистов, не то стае хищных лис, ибо они говорили, точнее, лаяли все вместе. Одна мадам Mère* способна была утихомирить их. При всем том приятель мой изъявлял полное удовлетворение. Он будто выставил их мне напоказ, как цирковых зверей, но и не без любви, как это ни покажется странным. Не скажу наверное, какое чувство владело тогда мною — уважение к семейной привязанности или сожаление об обременительности оной.

Не будучи самым старшим, мой приятель среди родни своей, бесспорно, сильнейший. Хотя они знают об этом

* мать *(франц.)*.

и то и дело порываются к мятежу, он правит своим семейным конклавусом что ваш домашний деспот. Смеяться над этим можно лишь сквозь слезы. Но нельзя не признать, что здесь, по меньшей мере, мой друг предстает заметной персоною.

Я поспешил ретироваться, провожаемый многозначительными взглядами увядшей красавицы. Друг мой сопровождал меня до дверей.

«Ну что ж,— говорил он, усмехаясь и потирая руки,— я благодарен вам бесконечно, генерал. Перед самым приходом вашим Жозеф — это овцеподобный — похвалялся, что имеет знакомство с sous-intendant, но английский генерал — ого! Жозеф позеленеет теперь от зависти!» Он в восхищении потирал руки.

Сердиться на это ребячество не было смысла.

«Я, разумеется, рад сослужить вам службу»,— сказал я.

«О, огромную службу,— отозвался он.— Бедняжка Жози будет хотя на полчаса избавлена от колкостей. Что же касается до Луи (Луи — это паршивая овца), то дела его плохи, ох как плохи! Но мы что-нибудь придумаем. Пускай вернется к Гортензии, она стоит троих таких, как он!»

«Большая у вас семья, майор»,— сказал я, не найдясь, что еще добавить.

«О да,— подхватил он,— весьма большая. Жаль, что остальных тут нет. Хотя Луи наш — дурень, изнеженный мною в юности. Что ж! Он-то был дитя, Жером же сущий олух. Но все же, все же... мы еще побарахтаемся... да, побарахтаемся. Жозеф продвигается понемногу в юриспруденции, ибо и на него находятся дураки. А Люсьен, будьте покойны, возьмет свое, только допустите его до Генеральных Штатов... Внуки мои уже подрастают, есть немного денег — совсем немного,— быстро сказал он.— На это им не приходится рассчитывать. Однако ж и то спасибо, особенно ежели вспомнить, с чего начинали. Отец, будь он жив, остался б доволен. Элиза, бедняжка,

умерла, но оставшиеся все заодно. Грубоваты мы, верно, для стороннего взгляда, но сердца у нас праведные. В детстве,— он усмехнулся,— я желал для них иного будущего. Думал, если фортуна улыбнется мне, всех своих сделаю королями, королевами... Смешно помыслить — Жозеф, такой тупица, и вдруг король! Ну да то были детские мечты. Впрочем, когда б не я, все они и посейчас жевали бы на острове каштаны».

Последнее было произнесено с довольно изрядным высокомерием, потому я не знал, чему удивляться более — абсурдным его похвалам или холодному презрению, адресованным этим людям. Я почел за лучшее молча пожать ему руку. Я был не в силах поступить иначе, ибо кто бы ни начинал с жерновом на шее... ординарною персоною уже не останется.

13 марта 1789 г.

...Здоровье моего приятеля заметно ухудшилось. Теперь я каждый день навещал его, исполняя тем свой христианский долг. Да к тому же я странно, беспричинно привязался к нему. Больной из него, впрочем, несносный — и я, и мадам, преданно, хотя и неумело ходящая за ним, часто страдаем от мерзкой его грубости. Вчера я заявил было, что не намерен далее сносить это. «Что же,— сказал он, остановив на мне свои необыкновенные блестящие глаза,— выходит, и англичане покидают умирающих?» ...Засим я принужден был остаться, как и подобало джентльмену... При всем том я не нахожу в нем настоящего к себе чувства... По временам он силится казаться любезным, хотя это не более чем игра... О да, даже на смертном одре... сложный характер...

28 апреля 1789 г.

Болезнь моего майора подходит к роковой развязке.

За последние несколько дней он заметно ослаб. Видя близость конца, он часто и с примечательным самообладанием о нем заговаривает. Я полагал, что сие положение обратит его мысли к Богу, однако он приобщился Святых Тайн безо всякого, боюсь, христианского раскаяния. Вчера по уходе священника он заметил: «Ну что ж, с этим покончено» — тем тоном, будто только что заказал себе место в почтовом дилижансе, а вовсе не собирается вот-вот предстать перед Творцом.

«Вреда от этого не будет,— задумчиво проговорил он,— может статься, этак все и есть. Не правда ли?» Он усмехнулся неприятно поразившею меня усмешкой, после чего попросил меня почитать ему — не Библию, как я надеялся, а кое-какие стихи Грея. Прослушав их с сугубым вниманием, он попросил меня повторить две строфы: «И гробожитель червь в сухой главе гнездится, Рожденной быть в венце иль мыслями парить». И далее: «И кровию граждан Кромвель необагренный, или Мильтон немой, без славы скрытый в прах». После чего сказал: «Да-да, это более нежели правда. В детстве думал я, что гений проложит себе путь и сам. Но тут прав ваш поэт».

Мне больно было слышать это, ибо болезнь, полагал я, должна была бы вызвать в нем справедливейшую, ежели не менее дерзкую, оценку его способностей.

«Полноте, майор,— сказал я, пытаясь утешить его,— все мы не можем стать великими. Вам не на что сетовать... Не говорили ли вы, что преуспели в жизни?..»

«Преуспел? — воскликнул он, сверкнув глазами.— Я преуспел? Бог мой! Умирать в одиночестве! Никого вокруг, не считая бесчувственного англичанина! Глупец, имей я шанс Александра, я превзошел бы его самого! А ведь пробьет час — это всего горше, Европу уже сотрясают новые роды. Родись я при Короле-Солнце, я сделался бы маршалом Франции! Родись я хотя двадцать лет назад, я бы вылепил новую Европу своими руками за полдюжины лет! Почему душа моя помещена в моем теле в проклятое

сие время? Неужели ты не понимаешь, глупец? Неужели никто не понимает?»

Здесь кликнул я мадам, ибо он явно был в бреду. С трудом удалось нам успокоить его.

8 мая 1789 г.

... Бедный мой друг тихо покинул этот свет. Как это ни странно, смерть его пришлась точь-в-точь на день открытия Генеральных Штатов в Версале. Тяжко бывает наблюдать последние минуты жизни, но он отошел неожиданно кротко. Я сидел подле него, за окном бушевала гроза. Угасающему его сознанию в раскатах грома чудились, верно, артиллерийские залпы, ибо внезапно он поднялся на подушках и прислушался. Глаза его сверкнули, по лицу пробежала судорога. «Армия! — прошептал он,— за мной!» — и когда мы подхватили его, он уж был бездыхан... Негоже говорить так христианину, однако я рад, что смерть дала моему другу то, в чем отказала жизнь, что хотя на пороге ее, но увидел он себя во главе победоносных войск. О, Слава, искушающий нас призрак... (Опускается страница рассуждений генерала Эсткорта о тщете честолюбивых замыслов.) ... Лицо его после смерти приобрело сосредоточенность и не лишено было даже величия... Очевидно сделалось, что в молодости был он красив.

26 мая 1789 г.

...Собираюсь ехать, с остановками, до Парижа и в июне достичь уже Стокли. Здоровье мое совершенно восстановлено, и единственное, что еще удерживало меня здесь, это попытки уладить запутанные дела моего покойного друга. Он оказался уроженцем Корсики, а не Сардинии вовсе — обстоятельство, не только многое объясняющее

в характере его, но и дающее лишнюю заботу адвокатам*. Встречался я и с его хищными родственниками, всеми вместе и поодиночке, чему обязан прибавлением седых волос... Наконец я преуспел в утверждении прав вдовы на наследство, и это уже немало, ибо единственным утешением, смягчившим для меня сие деяние, было поведение ее сына от первого брака, достойнейшего и добродетельнейшего юноши...

...Вы, несомненно, изобразите меня себе весьма бесхарактерной персоной, ибо я потратил столько времени на случайного знакомца, к тому же далеко не джентльмена и даже не того, чьи христианские добродетели восполняли бы отсутствие воспитания. Но все же на нем лежала печать трагедии, которой вторят звучащие и поныне в моих ушах стихи Грея. Никак не удается мне забыть, с каким выраженьем на лице говорил он об этих стихах. Вообразите гения, лишенного подобающих ему обстоятельств, впрочем, все это чистейший вздор...

...Что до практических дел, майор, оказалось, завещал мне военные мемуары, бумаги, комментарии, географические даже карты. Бог один знает, что мне делать с ними! Неловко было бы сжечь их sur le champ**, хотя и дорого везти с собой в Стокли содержащие их огромные саквояжи. Вернее всего мне взять их в Париж, где и сбыть старьевщику.

...В обмен на неожиданное это наследство мадам испросила у меня совета относительно камня и эпитафии своему покойному мужу. Сознавая, что откажись я, и они неделями будут браниться о сем предмете, я набросал некий план, ко всеобщему, надеюсь, удовлетворению. Он,

* Корсика, бывшая до этого колонией Генуэзской республики, присоединена к Франции в 1796 году, то есть при жизни героя рассказа, тогда как Сардиния оставалась частью Сардинского королевства. По-видимому, адвокатам трудно было решить, родился герой во Франции или за границей.

** сразу же *(франц.)*.

как оказалось, особо пожелал, чтобы эпитафия была начертана по-английски, сказав, что Франция довольно с него получила и при жизни. Таков последний всплеск умирающего тщеславия, вполне, впрочем, простительного. Как бы то ни было, я сочинил нижеследующее:

Здесь покоится
Наполеон Буонапарте
Майор королевской артиллерии
Франции
Родился 15 августа 1737 года
в Аяччо, Корсика.
Умер 5 мая 1789 года
в Сен-Филипп-де-Бэн
Мир праху твоему

...Немалое время я раздумывал, как добавить сюда строки Грея, те самые, что все еще звучат у меня в ушах. Впрочем, по размышлении я отказался от этой мысли, ибо, хотя и уместные, они слишком жестоки к праху.

Рассказ Анджелы По

В то время я был очень молодым человеком в издательском деле — моложе, наверно, чем нынешние молодые люди,— ведь это было еще до войны. Диана целилась из лука в небо над Мэдисон-сквер-гарден, который действительно находился на Мэдисон-сквере, и сотрудники в нашей нью-йоркской редакции, которые постарше, еще донашивали бумажные нарукавники и люстриновые пиджаки. Редакции бывают молодые и старые: кипучие, сверкающие, самонадеянные новые редакции, гудящие голосами неопытных экспертов, и смирившиеся, печальные маленькие редакции, которые уже поняли, что настоящих успехов им не добиться. Но под вывеской «Трашвуд, Коллинз и К^{0}» царила атмосфера прочной традиции и солидного достоинства. По выцветшему ковру в приемной в разное время шагало множество знаменитых ног — может быть, чуть меньше, чем я уверял молодых людей от других издателей, но легенды, несомненно, были. Легенда о Генри Джеймсе, об Уильяме Дине Хоуэлсе* и еще о молодом человеке из Индии, по фамилии Киплинг, которого приняли за мальчика из типографии и бесцеремонно выпроводили вон. На новых авторов наша атмосфера всегда производила большое впечатление — пока они не заглядывали в свои договора и не обнаруживали, что даже их австралийские права каким-то образом стали неотъемлемой собственностью фирмы «Трашвуд, Коллинз и К^{0}». Но стоило им

* Уильям Дин Хоуэлс (1837—1920) — известный американский прозаик, один из самых влиятельных критиков своего времени, друг Генри Джеймса и Марка Твена.

лично свидеться с мистером Трашвудом, и они убеждались, что самые удачные их произведения выпущены в свет из строжайшего чувства долга и, безусловно, в ущерб издательскому карману.

Мой стол стоял дальше всех других и от радиаторов и от окна, так что летом я жарился, а зимой замерзал и был совершенно счастлив. Я был в Нью-Йорке, я участвовал в выпуске книг, я видел знаменитостей и каждое воскресенье писал об этом письма своему семейству. Правда, порой знаменитости во плоти выглядели не так внушительно, как в печати, но они давали мне чувствовать, что я наконец-то вижу Настоящую Жизнь. А мою веру в человека неизменно поддерживал мистер Трашвуд — его худое, усталое лицо-камея и седая прядь в темных волосах. Когда он касался моего плеча и говорил: «Так, так, Роббинз, потрудились», я чувствовал, что меня посвящают в рыцари. Лишь много позже я узнал, что работаю за троих, но даже если б знал и тогда, это не играло бы роли. И когда Рэндл Дэй, от Харпера, нахально обозвал нас «святыми грабителями», я возразил ему подходящей цитатой про филистеров. Ибо мы в то время говорили о филистерах.

Честно говоря, состав авторов у нас в то время был отличный: хотя мистер Трашвуд, подобно почти всем процветающим издателям, редко когда прочитывал книгу, он обладал поразительным чутьем на все многообещающее, и притом обещающее нравиться долго. С другой стороны, были и такие имена, в которых я, как идеалист, сильно сомневался, и среди них первое место занимала Анджела По. Я мог вытерпеть Каспара Брида и его ковбоев, узколицых, мускулистых, с сердцем как у малого ребенка. Мог проглотить Джереми Джазона, доморощенного философа, чьи сафьяновые книжечки «Вера путника», «Обет путника», «Очаг путника» вызывали во мне примерно то же ощущение, как сломанный ноготь, скользящий по толстому плюшу. Издателям нужно жить, и у других издателей тоже

были свои Бриды и свои Джазоны. Но Анджела По была не просто автор — это было нечто вроде овсяных хлопьев или жевательной резинки: американский общественный институт, неопрятный, неотвратимый и огромный. Я мог бы простить ее — а заодно и Трашвуда с Коллинзом,— если бы книги ее расходились хотя бы прилично. Но «Нью-Йорк таймс» уже давно стала писать о ней: «Еще одна Анджела По... безусловно, покорит своих неисчислимых читателей», а потом спешила перейти к старательному пересказу фабулы. Я часто спрашивал себя, какой незадачливый рецензент писал эти конспекты. Ведь ему нужно было прочесть все ее книги, от «Ванды на болотах» до «Пепла роз», а чтобы это было по силам одному человеку, я просто не мог себе представить.

Место действия в романах бывало разное — от норвежских фиордов до берегов Тасмании, и каждая страница свидетельствовала о глубоком знании чужой страны, какое можно почерпнуть лишь добросовестным изучением самых болтливых путеводителей. Но менялись только декорации, марионетки бессовестно оставались те же. Даже в Тасмании дикие розы на щеках героини не поддавались воздействию климата и злостных, но на редкость неизобретательных ловушек злодея-циника в костюме для верховой езды. Злодеи, сколько помнится, почти всегда носили такие костюмы и обычно были воинствующими атеистами, хотя и занимали высокое положение в обществе. Героини были миниатюрные, не от мира сего и местную флору любили называть по именам. И надо всем этим, пресный, томительный и сладкий, как вкус огромной пышной пастилы, витал неподражаемый стиль Анджелы По. Временами этот стиль доводил какого-нибудь начинающего рецензента до бешенства, и он писал беспощадную рецензию из тех, что пишут очень молодые рецензенты. Тогда девушка на телефоне получала предупреждение, и мистер Трашвуд откладывал все другие дела, назначенные на этот день. Ибо Анджела По прочитывала свои рецензии со страстью.

Вот по такому случаю я и увидел ее впервые. Я проходил мимо кабинета мистера Трашвуда, когда оттуда выскочил мистер Коллинз, видимо очень озабоченный. Толстенький человечек, гроза производственного отдела, все личные контакты с авторами он, как правило, передавал мистеру Трашвуду. Но в тот день Анджела По возникла у нас, когда мистера Трашвуда не было, и застала его врасплох.

— Послушайте, Роббинз,— обратился он ко мне без предисловий, как человек, который идет ко дну,— есть у нас какая-нибудь первоклассная рецензия на последнюю По? Ну, знаете, из таких, где сплошной мед и масло? «Уошоу газетт» только что обозвала ее «поставщиком литературных карамелек», если б мне добраться до того, кто у них там ведает газетными вырезками, без крови бы не обошлось.

— Да знаете,— начал я,— к сожалению...— И вдруг вспомнил: Рэндл Дэй имел зловредную привычку присылать мне самые льстивые рецензии на Анджелу По, какие мог выискать, и одну из них прислал мне только в то утро, украсив ее веночком из цветов и сердечек.— Представьте себе, есть,— сказал я,— но...

— Благодарение богу,— произнес мистер Коллинз с жаром и, схватив меня за руку, бегом втащил в кабинет.

Но сперва я не усмотрел причин для странного напряженного выражения на его лице, а также на лице мистера Кодервуда, нашего художественного редактора, который тоже там оказался. В пухленькой скромной старушке с лицом как увядший анютин глазок не было ничего устрашающего. Да, конечно, эта была Анджела По, пусть на десять лет старше, чем самые старые из ее рекламных снимков. А потом она заговорила.

Голос был нежный, звенящий, однообразный и непрерывный. И пока он звучал — про мистера Трашвуда и всех ее добрых друзей у Трашвуда и Коллинза, а потом — перехода я не уловил — про то, что цветы в ее садике — тоже ее друзья,— я начал понимать, что кроется за выра-

жением на лице мистера Коллинза. Это была скука, обыкновеннейшая скука, но возведенная в изящное искусство. Ибо когда Анджела По сердилась, она уже не устраивала громких сцен. Она всего лишь говорила своим негромким нежным голосом, и он звучал безжалостно и упорно, как бормашина, вгрызающаяся в зуб.

Пытаться перебить ее или изменить тему разговора было безнадежно, нельзя переменить тему разговора, когда темы нет. Однако же, пока она говорила и каждая минута казалась длиннее предыдущей, так что слабая плоть едва удерживалась, чтобы не расхныкаться от скуки, я начал понимать, что она-то отлично знает, чего добивается. Каким-то образом мы снова и снова возвращались к Анджеле По и к тому обстоятельству, что она ждет мистера Трашвуда, так что я и сам стал чувствовать, что его отсутствие равносильно стихийному бедствию и что, если он скоро не появится, я, чего доброго, зальюсь слезами.

К счастью, он приехал вовремя и спас нас, как только он это умел. К счастью или к несчастью, потому что, когда он вошел, я как раз показывал ей рецензию, которую утром прислал мне Дэй. Это уже немного ее успокоило, хотя она не преминула очень серьезным голосом сказать, что рецензий никогда не читает. От них у бабочки ломаются крылья. Какой смысл за этим крылся, я не знал, но, видимо, ответил что-то подходящее, потому что в тот же день, в пять часов пополудни, мистер Трашвуд сообщил мне, что отныне я буду получать в месяц на десять долларов больше.

— И между прочим, Роббинз,— сказал он,— не хочется вас зря загружать, но чем-то вы сегодня понравились мисс По. Так вот, мисс По как раз начинает работать над новым романом, на этот раз об Исландии — или о Финляндии, это не так уж важно,— и подарил меня заговорщицкой улыбкой.— Как вам известно, мы всегда достаем для нее все нужные справочники и посылаем ей каждую пятницу, она хочет, чтобы их принес один из сотрудников редакции.

Это на западном берегу Гудзона, и свой дом она, боюсь, назвала «Орлиное гнездо»,— продолжал он со смешком.— Но сама она, надо сказать, очень разумная маленькая женщина, в делах разбирается как нельзя лучше — да, как нельзя лучше,— и лицо его выразило невольное уважение.— Ну так как, вы согласны? Вот и отлично, договорились. Молодец вы, Роббинз! — добавил он и рассмеялся как школьник.

Я собирался сказать ему, что решительно не согласен, но при личном общении с ним все подпадали под его чары. И все же в ту пятницу я забрал саквояж с книгами и сел на паром неохотно и сердито. А добравшись до «Гнезда», нашел там милейшую старую даму, которая напомнила мне моих теток. Я сразу почувствовал себя как дома, она накормила меня до отвала, обхаживала суетливо, но не слишком. К чаю было всего в изобилии, на станцию меня отправили в коляске парой. В обратном поезде я с отчаянием признался себе, что отлично провел время. А в ушах у меня не смолкал звенящий негромкий голосок Анджелы По — не говорил ничего, однако не забылся. Я очень старался определить, что она собой представляет,— она была похожа на любой десяток дам, каких я знал в Сентрал-Сити,— дам с золотыми часиками, приколотыми на груди, которые суетливо, но с толком проводили клубничные фестивали и распродажи на «Дамской бирже». И она не... нет, что-то еще в ней было, какое-то свойство, которое я не мог определить. Благодаря ему она стала Анджелой По, но что это было? Прислуга в ее доме, как я заметил, была вымуштрована и вежлива, и собака по первому ее слову вставала с коврика у камина и уходила. И при этом, когда мисс По спускалась по лестнице, вы инстинктивно поддерживали ее под руку. Я совсем запутался, но испытывал немного виноватое желание снова побывать в «Гнезде». Молодые люди часто бывают голодны, а чай был великолепен.

А кроме того, как я и признался Рэндлу Дэю, самый

дом стоил платы за вход. Это был один из тех больших деревянных домов с широкими верандами, каких в восьмидесятые годы понастроили на скалистых берегах Гудзона, где они, непонятно почему, напоминали гигантские часы с кукушкой. Были там и газоны, и боскеты, и огромная конюшня с куполом, и подъездная дорога, усыпанная гравием, полы из лучших сортов дерева и картины в тяжелых рамах. Все это могло попасть сюда из какого-то романа Анджелы По, она прекрасно описала это вплоть до газовых рожков. И среди этого великолепия бродил мистер Эверард де Лейси, человек, которого боже вас упаси назвать мистер Анджела По.

То была моя первая встреча с супругом знаменитой писательницы, и в памяти у меня она до сих пор занимает исключительное место. Теперь уже не встречаешь их так часто, как в те времена,— этих мужчин с крупными подвижными губами, гамлетовским взором и кожей, которая помнит грим тысячи провинциальных артистических уборных. Новые актеры — это другое племя. Мистер де Лейси был не просто актер, это был трагедийный актер, что отнюдь не то же самое. В молодости он, вероятно, был очень хорош собой — этакой традиционной провинциальной красотой, черные блестящие глаза и кудри Гиацинта,— а голос до сих пор рокотал как у Майкла Строгова, царского курьера. Когда он устремлял на меня свой гамлетовский взгляд и цитировал — конечно, Барда,— мне становилось стыдно, что я — не зала, набитая публикой. Но в этом смысле он держался очень тактично, и мне нравилось, как он относится к мисс По.

Ибо эти стареющие люди были безусловно и крепко привязаны друг к другу, и чтобы почувствовать эту связь, достаточно было увидеть их вместе. Они уступали друг другу церемонно, с викторианской учтивостью, которая показалась мне даже трогательной. И Эверард отнюдь не был тем безобидным, необходимым мужем, какими часто ока-

зываются такие мужья. Считалось, что он «отдыхает» от современной греховной сцены, недостойной его талантов, но считалось также, что в любую минуту он может вернуться на подмостки под рукоплескания переполненной залы. Позже я выяснил, что «отдыхал» он почти тридцать лет, с тех самых пор как романы Анджелы По пошли нарасхват. Но это не поколебало ни его, ни ее.

«Без мистера де Лейси,— уверяла она своим нежным, звенящим голоском,— я бы никогда не сделала того, что сделала», а Эверард рокотал в ответ: «Дорогая моя, мне оставалось только полить и подрезать розу, а цветы все твои собственные». Чаще бывает, что такие вещи если произносятся вслух, то неискренне. Но тут чувствовалось, что оба По, то есть оба де Лейси искренни до предела. И при этом они обменивались взглядом, как две души, связанные узами более крепкими, чем те, о каких известно бездушному свету.

Описывая их, я и сам как будто заимствую стиль Анджелы По. Но трудно было бы в такой обстановке не заразиться ее манерой. Если бы прелестная девушка в простеньком муслиновом платье повстречалась мне в саду и упорхнула, вспыхнув от смущения и с испуганным возгласом, это смутило бы меня, но не удивило бы нисколько. А бывали времена, когда я так и ждал, что на любом повороте подъездной аллеи встречу хромого мальчика с бледным храбрым личиком, просиявшим под лучами закатного солнца. Но детей у де Лейси не было, хотя они очень заботились о бесчисленных отпрысках родственников мистера де Лейси. И это казалось мне как-то оскорбительно.

Я, понимаете, пришел позабавиться. Но, вздохнув, начал если не молиться, так задумываться*. Они кормили меня отменно, обращались со мной церемонно-учтиво, были

* Здесь — намек на вошедшую в поговорку фразу из поэмы Голдсмита «Покинутая деревня»: «Пришедший позабавиться — вздыхая, молиться начинал». *Перевод В. Топорова.*

сентиментальны, но и великодушны. Мне приходилось нередко выслушивать от Анджелы По нежный, звенящий поток ее слов, но со временем я и к этому привык. И мистер Трашвуд был совершенно прав: она, когда хотела, была чрезвычайно разумна, даже саркастична. И умела принимать критику, что меня удивило. По крайней мере, умела принять ее от Эверарда де Лейси. Бывало, что, когда она вкратце намечала нам какую-нибудь сцену или характер, он вдруг произносил своим звучным, рокочущим голосом: «Нет, дорогая, это не годится».

— Но, Эверард, как же тогда Зефе спастись из психиатрической больницы?

— А это, моя дорогая, тебе подскажет твой талант. Но в таком виде этот кусок не годится. Я это чувствую. Это — не Анджела По.

— Хорошо, дорогой,— говорила она покорно, а потом поворачивалась ко мне: — Вы знаете, ведь мистер де Лейси всегда прав.— А он говорил в ту же секунду: — Я, молодой человек, не всегда прав, но те скромные дарования, какими я обладаю, всегда к услугам миссис де Лейси...

— Плоды огромного внутреннего богатства.

— Ну, что ты, дорогая, может быть — знание наших отечественных классиков, кое-какой практический опыт в толковании Барда...

И тут они грациозно кланялись друг другу, а мне опять неудержимо вспоминались если не часы с кукушкой, то один из тех деревянных барометров, где ясную погоду предвещает старушка, а дождь — старичок. Только здесь старичок и старушка появлялись одновременно.

Надеюсь, мне удалось передать впечатление, которое у меня сложилось о них,— двое стареющих людей, чуть диковинных, порядком нелепых, но главное — необходимых друг другу. Для молодого человека очень важно иногда увидеть такое — это укрепляет его веру во вселенскую гармонию, хотя в то время он мог этого и не понимать. Для молодого человека знакомство с настоящей

жизнью содержит и страшные минуты: он вдруг обнаруживает, что живые люди, не в книгах, совершают самоубийство в заполненной газом спальне, потому что умереть им хочется больше, чем жить; обнаруживает, что другим людям нравится быть порочными и они добиваются в этом успеха. И тогда он, как пловец за перевернувшуюся лодку, хватается за первую опору, какая попадается под руку. Когда я познакомился с супругами де Лейси, такое показалось бы мне невозможным, но именно они стали одной из опор, за которые я ухватился.

И по мере того как я все больше втягивался в бесконечную паутину работы Анджелы По, я стал понимать, сколь многим она обязана своему мужу. О, сам он не мог бы ничего написать, в этом будьте уверены. Но он знал все протоптанные тропинки мелодрамы во всем их фальшивом жизнеподобии, знал, когда что-то «не годилось». Это я знаю точно, потому что за одной из книг Анджелы По я волей-неволей проследил от первого замысла до выхода в свет. С литературной точки зрения его советы не пошли этой книге на пользу — она была ужасна. Но она удалась. Это была Анджела По; солнце вставало над картонными горами в самую нужную минуту. И каждое слово его критики помогало этому восходу.

И вот однажды, когда я приехал в «Орлиное гнездо», оказалось, что у нее легкая инфлуэнца и она лежит в постели. Ее состояние явно тревожило его, но он настоял, чтобы я остался выпить чаю, потому что мы к этому привыкли. У меня в то время были свои заботы, и я был рад передохнуть на покое. Он призвал на помощь всю свою обходительность, угостил меня парочкой вполне пристойных театральных шуток, но чувствовалось, что глаза его блуждают, а уши прислушиваются, не раздадутся ли какие-нибудь звуки со второго этажа. Не будь он встревожен, право, не знаю... но тревога располагает к откровенности. Я решил, что сейчас — подходящее время, чтобы поздравить его с участием в ее работе. Он слушал рассеян-

но, хотя я видел, что ему приятно.

— Рад, что вы так считаете, мой милый,— сказал он,— рад, что вы так считаете. Сколько раз я говорил себе: «Нет, любезный, на этот раз пусть талант горит без помехи. Кто ты такой, чтобы профанировать... мм... священный огонь?» Но гения — даже гения нужно время от времени спускать до уровня нас, простых смертных, и тут, возможно, я и сыграл свою роль. Надеюсь, что сыграл,— добавил он до крайности просто.— Она очень много для меня значит.

— Это я знаю, сэр,— сказал я, но он не слушал.

— Да,— сказал он.— Мы очень много значим друг для друга. Надеюсь, она не забыла принять капли, в самом деле, вы знаете, она ненавидит капли. Наша первая встреча была как вспышка молнии.— Он посмотрел на меня с некоторой торжественностью.— Жаль, что мистер Уэдж, ее первый муж, не понял этого. Но он был сугубо земным существом. Он не мог представить себе союз двух верных душ.

— Миссис де Лейси уже была замужем? — спросил я, и голос мой от удивления прозвучал непростительно резко.

— Мой милый,— сказал мистер де Лейси, и теперь он в свою очередь выглядел удивленным,— я забыл, что вы не знаете. Да, когда мы познакомились, она была миссис Марвин Уэдж,— добавил он задумчиво,— и хороша была, как расцветающая роза.

Тысячи непроизносимых вопросов зароились у меня на губах и там скончались. А он продолжал:

— Я называл ее розой Гошена. Гошен, штат Индиана, мой милый, я там как раз отдыхал после гастролей с Барретом. Играл обоих могильщиков и боксера Чарльза. Чарльз, боксер, это не очень большая роль, но в ней есть что играть. Вернуться после этого в Гошен было нелегко, но бывает и финансовая необходимость. Но как только я встретил Анджелу, я уже знал: меня к ней привело.

Уэдж был... мм... владельцем нашего лабаза, постарше меня; когда я был маленький, он гонялся за мной и дразнил «Щепкой». А Анджелу я раньше не знал, она приехала из Зукс-Спринг.

Он умолк и поглядел на меня гамлетовскими глазами. Я так ясно видел всю картину: пыльные улицы городка и молодой обтрепанный актер, только что вернувшийся из неудачного пробного вылета. Я видел Анджелу По, сорок лет назад, в простом ситцевом платье одной из ее героинь. Все это было, наверно, невинно и благородно, невинно и нереально, как театральная мелодрама, включая и фигуру грубого лабазника. Я видел его в жилете и без пиджака, хохочущим над робкими почтительными речами... кого? — невозможно, чтобы уже тогда мальчика звали Эверард де Лейси. А между тем в Гошене романтика одержала победу. Как это случилось?

— Так что мисс По была разведена... то есть я имею в виду развелась с мистером Уэджем,— сказал я.

Мистер де Лейси словно был шокирован, это показалось мне странным.— Мой милый,— произнес он с достоинством,— ни разу ни в одной из своих книг Анджела По не вывела разведенную женщину.

— Я знаю,— протянул я беспомощно,— но в жизни...

— Книги Анджелы По и есть жизнь,— словно припечатал мистер де Лейси. Потом сжалился и добавил: — Нет, мистера Уэджа нет в живых. Он преставился.

— Преставился?

— Меньше чем через год после моего возвращения в Гошен. Попросту говоря, он был убит.— И мистер де Лейси так сурово устремил на меня свой гамлетовский взор, что на секунду мне показалось, что сейчас я услышу некое потрясающее признание. Но последовало другое.— Каким-то бродягой,— выговорил он наконец.— В своем лабазе. С целью ограбления. Анджела тогда ужасно расстроилась.

Я открыл рот и снова закрыл, не издав ни звука.

— Да, ужасно расстроилась. Я был рад, что могу быть с ней рядом,— продолжал он наивно.— Хотя поженились мы, разумеется, много позже. Она в тот день была не в подвенечном наряде, а в костюме, но держала букет из флердоранжа и ландышей. Это я настоял,— добавил он не без гордости.

— А бродяга? — спросил я, жадный до ужасов, как все молодые.— Он что же...

— У-у, его так и не нашли,— прогудел он рассеянно, потому что сверху послышался негромкий шум.— Но Анджела выдержала это изумительно. Она вообще изумительная женщина.— Он встал.— Вы меня извините, на одну минуту, мой милый...

— Мне пора на поезд, но благодарю вас, мистер де Лейси, и поверьте, я не обману вашего доверия,— добавил я, пытаясь не уступить ему в учтивости.

Он серьезно кивнул и сказал: — Да, да. Возможно, мне не следовало ничего говорить, но мы хорошо вас узнали и оценили за время ваших посещений «Гнезда». И они не должны кончиться вместе с книгой, нет, мой дорогой, нет. Просто я не стал бы этого касаться в разговорах с мисс По. Она не любит вспоминать то время, оно было для нее несчастливое. Мистер Уэдж был, в сущности,— он запнулся, подыскивая нужное слово, потом закончил: — Мистер Уэдж был, в сущности, не очень тонкий человек.

Я заверил его в полном моем понимании и распрощался. Но всю дорогу домой кое-какие мысли вертелись у меня в голове. Меня удивило не то, что Провидение в облике грабителя-бродяги нашло нужным убрать с дороги «нетонкого» мистера Уэджа. Такие вещи вполне могли случиться с Анджелой По. Но почему она вообще вышла за него замуж и как она, соприкоснувшись с реальной жизнью, могла начисто забыть о ней в своих книгах? Но это были вопросы из тех, которые задавать нельзя.

И все же в конце концов я их задал — с отвагой мо-

лодости. Задал потому, что полюбил ее, полюбил их обоих. А когда людей любишь, с ними тянет быть честным. В том-то и беда.

Мы уже решили, что когда книга выйдет, отметим это событие втроем. Но не я вложил ей в руки первый экземпляр, я привез с собой только макет и суперобложку. Именно на эту субботу мистер де Лейси наметил одну из своих редких вылазок в Нью-Йорк. Я был даже рад, что застал ее одну,— мне казалось, что после того разговора с ним я заметил некоторую натянутость между нами. Во всяком случае, я чувствовал, что знаю тайну,— и все спрашивал себя, знает ли она, что я знаю. И решил сказать ей по-честному, как много значили для меня в истекшем году безопасность и душевный покой «Орлиного Гнезда». Я только ждал удобной минуты, чтобы начать. Но начали мы, конечно, с разговора об издательских делах. Ее замечания были разумны, остры, и я их оценил, хотя инфлуэнца оставила свой след и выглядела она более хрупкой, чем когда-либо. И вдруг удивила меня, почти испугала вопросом, как я, в сущности, расцениваю ее работу.

За полгода до того я бы просто умаслил ее на благо Трашвуда и Коллинза и на том успокоился, но теперь она была мне дорога, и в конце концов могут у человека быть и собственные взгляды. Масло было не лучшего сорта, и она это знала. И однообразно, безжалостно, своим негромким, нежным голосом продолжала добиваться своего. Мне бы остеречься, но я упустил момент. Если бы авторы не страдали манией величия, никто вообще не писал бы книг. Но я забыл об этом первом правиле издательского дела и продолжал барахтаться.

— И все-таки, мистер Роббинз, я чувствую, что вы мне не верите, не верите Анджеле По,— повторяла она мягко, и наконец я не выдержал и с отчаянной юношеской неосторожностью принял решение.

— Дело не в том, мисс По,— начал я запинаясь,—

но если бы вы хоть раз... почему вы не хотите? Ваши читатели, может, будут недовольны, но женщина с вашим опытом, прожившая такую жизнь...

— Такую жизнь? — переспросила она надменно.— А что вы знаете о моей жизни, молодой человек?

— Ничего решительно,— отвечал я, увязая все глубже,— но мистер де Лейси сказал, что вы оба из маленьких провинциальных городков, а настоящий роман об американском городке...

— Это Эверард вам насплетничал, вот шалун! Придется мне сделать ему выговор,— сказала Анджела По радостно. Но радость была только в голосе. Мне вдруг показалось, что в ее глазах я — скучный дурак и скорее бы убрался вон. Мне очень захотелось, чтобы вернулся мистер де Лейси, но как я ни вслушивался, ни один уголок дома не отзывался эхом его щедрого рокота.

— Ой, не надо, пожалуйста,— сказал я.— Такие прелестные были истории. Он... он рассказал мне, что в день свадьбы вы были в дорожном костюме.

— Милый Эверард! — сказала Анджела По,— все-то он помнит! Светло-серый шелк с белым воротничком и манжетками, я выглядела в нем очень мило. И вы думаете, из этого я могла бы сделать книгу?

— Мы давно надеемся... ваши мемуары... читателя Анджелы По...— начал я.

Она решительно помотала головой.

— Мемуаров я никогда не буду писать. Мемуары плохо расходятся. Издатели воображают, что это ходкий товар, но нет, они ошибаются. А кроме того, это приоткрыло бы тайну. Вы знаете, кто я такая, молодой человек? Знаете, что мне пишут каждый день, со всех концов страны? Пишут и спрашивают, что им делать со своей жизнью. И я им отвечаю.— Она гордо выпрямилась.— Даю им советы. Очень часто они им следуют. Потому что я — Анджела По, и они знают мои портреты и мои книги. Вот они и пишут, как могли бы писать к божеству,— на секунду

она потупилась,— а это неплохо для женщины, которая пишет то, что вам кажется чепухой, мистер Роббинз. Но я всегда знала, что могу это сделать,— закончила она неожиданно.— Всегда знала, но что-нибудь всегда мешало, то одно, то другое.

Уйти я не мог — на поезд идти еще было рано,— но мне становилось все неуютнее. Было что-то странное в нежном, звенящем голосе, нотка фанатического, почти религиозного в своей искренности эгоизма. К эгоизму писателей я вообще-то привык, но тут это звучало в другом ключе.

Она легонько провела платочком по губам.— Ах боже мой, после болезни я много чего стала забывать. О чем мы сейчас говорили? Ну да, вы предлагали мне написать книгу об американском городке. А вы их знаете, мистер Роббинз?

Вопрос был задан так внезапно и неистово, что я чуть не ответил «нет» вместо «да». Потом она сжалилась.— Ну, разумеется, знаете,— сказала она чуть чопорно.— Вы знаете, как там ограничены культурные возможности и как над человеком смеются, если он их жаждет? Или, может быть, этого вы не знаете?

Вопрос был явно риторический. Поэтому я только кивнул, все еще надеясь, что вот-вот услышу в холле шаги мистера де Лейси.

— И даже так,— продолжала она ласково,— вы ведь не принадлежите к женскому полу. А женщину обидеть легче, чем думают джентльмены. Даже Эверард иногда меня обижал, о, не умышленно, и я быстро его прощала,— добавила она с царственным жестом.— А все-таки обижал.— Теперь она несомненно говорила не столько со мной, сколько с самой собой, но от этого мне было не легче.

— Все остальное я могла бы Марвину простить,— сказала она,— пьянство, неуемные страсти, грубые шутки.

В этом и состоит удел женщины — смиряться и прощать. А он шутил насчет того, как я веду хозяйство. А издать мои стихи ему обошлось бы всего в восемьдесят долларов. Для обложки у меня была прелестная гирлянда из ромашек. Я думала, что он станет для меня ступенькой вверх, в маленьком городке лабаз более чем окупался. Но я ошиблась.— Она тихонько вздохнула. Я уже не ждал появления мистера де Лейси. Я мечтал об одном — чтобы мой поезд с грохотом ворвался в комнату и увез меня. Но такого, к сожалению, не бывает.

— Но о разводе я никогда не думала,— продолжал звенящий голосок.— Никогда. Раз или два эта мысль у меня мелькала, но я тут же прогоняла ее. И до сих пор этому рада. Ему, я думаю, было бы все равно,— и она широко открыла свои анютины глазки,— но он мог бы серьезно повредить Эверарду, он был очень сильный. Бывало, когда мы только недавно поженились, он носил меня по комнате на одной руке. Мне было страшно, но я всегда смирялась и прощала. И в лавке всегда было так пыльно. От пыли я чихала, а он тогда смеялся. И когда Эверард читал мне Шекспира. Я и в тот вечер чихала, когда вытирала топорище, но никто меня не слышал.

— Когда что делали? — спросил я, и голос мой прозвучал высоко и резко.

— Наверно, это было лишнее,— сказала она задумчиво.— Теперь-то, с отпечатками пальцев, пригодилось бы, но люди они были глупые, и про отпечатки мы знали мало. Но просто выглядело аккуратнее: я уронила его на пол, а пол был грязный. Они там никогда толком не подметали. Он сидел ко мне спиной, читал мои стихи и смеялся. Новые стихи я спрятала, но он их нашел, взломал ящик. А топор был старый, им перерубали проволоку на тюках с кормом. Вы знаете, он не сказал ничего, он все смеялся и пытался встать со стула. Но не успел. Деньги я сожгла в печке, а про платье меня никто и не спросил. Говорят, лимонная кислота снимает кровяные пятна, если

сразу,— продолжала она.— Но я решила, лучше не пробовать, хотя платье было очень приличное.

— Но неужели вас... неужели никто...— мямлил я.

— Ну конечно, мистер Роббинз,— отвечала она безмятежно,— вы и не представляете себе, как злобно сплетничают в маленьком городке. Но когда пришли мне сказать, я была в постели, с сильной простудой, любое эмоциональное напряжение вызывает у меня простуду, и в тот день, когда мы с Эверардом поженились, я тоже была сильно простужена. И всем было известно, что он засиживался в лабазе ночи напролет, пил там и читал гнусные атеистические книги, например, этого ужасного полковника Ингерсолла*. Старые кошки уверяли, что он боится идти домой. Боится меня! — сказала она с предельной непосредственностью.— Чего только люди не скажут! Вы что думаете, говорили даже про Эверарда, хотя все знали, что он уехал с отцом, повез овощи на рынок. Я об этом подумала, когда пошла в лавку.

— А между тем,— сказал я,— вы жили в Гошене, вы вышли замуж за мистера де Лейси только через год.

— Год и один день,— поправила она.— Но через шесть месяцев я перешла на частичный траур. Я знаю, может, я поторопилась, но я решила, что это ничего, раз я буду помолвлена с Эверардом.— И на щеках у нее проступил бледный румянец.— Я ему сказала, что ни о чем таком не буду говорить, пока ношу полный траур, и он выполнил мое желание — Эверард всегда был очень тактичен. Сперва я боялась, что не буду знать, куда девать время. Но оно прошло как-то быстро. Я писала мой первый роман,— объяснила она, благоговейно понизив голос.

* Роберт Ингерсолл (1833—1899) — юрист, политик-демократ до Гражданской войны, в которой участвовал как полковник кавалерии и перешел в республиканскую партию. Много лет вел кампанию за свободомыслие, включившую такие лекции, как «Суеверие», «Некоторые ошибки Моисея» и прочие подобные сюжеты, критикующие богословие и Библию с позиций рационализма.

7 Бене

Как я вышел из этого дома — до сих пор не знаю, надеюсь, что внешне прилично. Но до того как я пришел в себя, «Гнездо» уже осталось позади, а я отшагал хороший кусок на двухмильном пути к станции. Ее последние слова и картина, которую я за ними увидел,— вот отчего меня пронзило подлинное холодное содрогание. Я все думал — сколько же популярных писателей и писательниц — убийцы, и почему полиция их всех не арестует. Я мог даже поверить, что если бы злополучный мистер Уэдж заплатил в типографии восемьдесят долларов, он, возможно, остался бы жив. Ибо есть эгоизм, который высмеивать или обуздывать небезопасно, рискуешь, что взорвутся первозданные силы.

И тут, когда я уже почти дошел до станции, я вдруг рассмеялся целительным смехом нормальной жизни. Ибо все это было уморительно, и Анджела По отомстила мне отменно. Я сказал ей, что думаю о ее работе, а она очень ловко и убедительно заставила меня проглотить самую нелепую смесь всякого вздора, какую могла придумать, и доказала, что рассказчица она — первый сорт. Но, удалившись от монотонного очарования ее голоса, думать о ней как об убийце было просто невозможно, а думать о мистере Эверарде де Лейси как о сообщнике — либо до, либо после преступления — и подавно. Либо еще — она все эти годы скрывала от него правду, а это тоже было немыслимо.

У меня даже мелькнула мысль вернуться в «Гнездо» и смиренно сознаться его хозяйке в своем безумии и своем поражении. Но до отхода моего поезда оставалось всего пятнадцать минут, а в Нью-Йорке я был приглашен к обеду. Лучше напишу ей письмо — это ей понравится. Я ходил взад-вперед по перрону, сочиняя для письма красивые, полнозвучные фразы.

Поезд из Нью-Йорка пришел за шесть минут до моего, и в толпе выходящих я с радостью приметил стройную фигуру Эверарда де Лейси. Он пожал мне руку и прогудел,

как он жалеет, что не застал меня.— И как там мисс По? — спросил он тревожно.— Меня сегодня с раннего утра не было дома.

— О, она была великолепна, не помню, чтобы она когда-нибудь выглядела лучше,— ответил я, согретый теплом затаенного смеха.— Мы проговорили несколько часов, она вам расскажет.

— Это хорошо. Это очень хорошо, мой милый, для меня это большое облегчение,— проговорил он, ища глазами коляску, которая еще не подъехала.— Дженкс что-то запаздывает.— Потом он бросил на меня быстрый взгляд.— Вы случайно не упоминали о том, что сказали мне, когда мы с вами болтали, а она еще была так больна?

— Не упоминал? — И я широко улыбнулся.— Ну как же, даже очень.

Почему-то весь вид его выражал облегчение.— Я от души вам благодарен. Значит, вы действительно чувствуете — а слышать это от вас что-нибудь да значит,— что я ей по-настоящему помогаю? В смысле ее книг, ее карьеры...

— Ну разумеется,— сказал я, хотя был немного озадачен.

— Превосходно,— пророкотал он.— Превосходно.— Старомодным актерским жестом он взял меня за лацкан.— Понимаете,— сказал он,— это глупо с моей стороны, и теперь мы, конечно, оба старые. Но иногда у меня бывает ощущение, что я не так уж ей необходим. И это меня очень беспокоит.

На миг, пока он это говорил, из глаз его выглянул страх. Это не был постыдный страх, но он жил с ним, очевидно, долгое время.

Я не вернулся в «Орлиное Гнездо», не вернулся и к Трашвуду с Коллинзом. Второе без первого потребовало бы объяснений, а пускаться в объяснения я не был склонен. Вместо этого я переехал в другой пансион и стал

работать агентом по продаже алюминиевых товаров. А через шесть месяцев вернулся в Сентрал-Сити и занял вакансию на цементном заводе моего отца, которую тот приберегал для меня. Ибо я пришел к убеждению, что не создан для Нью-Йорка и для жизни в литературе: для этого мне не хватало самоуверенности Анджелы По.

Однажды, в те шесть месяцев, что я еще там жил, мне показалось, что я видел мистера де Лейси на улице, но он меня не заметил, и я бежал его. И конечно, как я ни старался держаться от них подальше, я видел анонсы о последнем законченном романе Анджелы По. Она умерла, когда я уже три месяца жил в Сентрал-Сити, и когда я прочел, что о ней скорбит муж, актер Эверард де Лейси, я почувствовал, что с души у меня сняли тяжкую ношу. Но он пережил ее всего на несколько месяцев. Очень уж скучал по ней, наверно, а некоторые связи в жизни особенно прочны. Мне хотелось задать ему один вопрос, всего один, а теперь я уже никогда этого не узнаю. Шекспировские роли он играл безусловно, а когда они уехали из Гошена, он на довольно долгое время вернулся на сцену. В некрологе упомянуты и Отелло, и Гамлет. Но есть еще одна роль, и мне интересно, играл ли он ее и что из нее сделал. О какой роли я говорю, вы, вероятно, уже поняли.

Из цикла «Рассказы о нашем времени»

Очарование

В молодости я читал много, а теперь книги меня только злят. Мэриан без конца носит из библиотеки, и случается, я беру и прочитываю несколько глав,— но рано или поздно натыкаешься на такое место, что с души воротит. Не в смысле похабщины — а просто глупость, где люди ведут себя так, как в жизни никогда не ведут. Правда, читает она все больше про любовь. А это, пожалуй, самые плохие книги.

И что я совсем не могу взять в толк — денежную сторону. Чтобы выпить, нужны деньги, чтобы с девушкой гулять, нужны деньги,— по крайней мере таков мой опыт. А в этих книгах люди будто изобрели особые деньги — их тратят только на вечеринки и путешествия. Остальное время по счетам платят, судя по всему, вампумом.

Конечно, в книгах часто встречаются и бедные люди. Но тогда уж до того бедные, что оторопь берет. И часто, когда дело уже совсем швах, вдруг откуда ни возьмись — хорошенькое наследство, и новая жизнь открывается перед ними, как красивый тюльпан. Да... я получил наследство только раз в жизни и знаю, что я с ним сделал. Оно меня чуть не угробило.

В 1924 году умер в Вермонте дядя Баннард, и когда его состояние перевели в деньги, Лу и мне досталось по 1237 долларов 62 цента. Муж Лу вложил ее деньги в торговлю недвижимостью Большого Лос-Анджелеса — они живут на Западном побережье — и, кажется, поместил их удачно. Я же свои взял, уволился из фирмы «Розен-

берг и Дженингс», галантерея и механические игрушки, и переехал в Бруклин, писать роман.

Теперь, когда вспомнишь это, оторопь берет. Но в ту пору я был помешан на чтении и писательстве и сочинял кое-какую рекламу для фирмы, очень удачно. Тогда все наперебой кричали о «новых американских писателях» и дело казалось беспроигрышным. Я не попал на войну — когда она кончилась, мне было семнадцать — и в колледж не попал из-за смерти отца. В сущности, после школы я мало делал того, что было бы мне по душе, хотя галантерейное дело — дело не хуже других. Поэтому как только появилась возможность вырваться на волю, я вырвался.

Я решил, что на 1200 долларов легко проживу год, и сперва подумал о Франции. Но тут началось бы занудство — учить их язык, да еще дорога туда и обратно. Кроме того, я хотел находиться поблизости от большой библиотеки. Я задумал роман об Американской революции, ни больше, ни меньше. Я прочел «Генри Эсмонда» не знаю сколько раз и хотел написать книгу наподобие его.

Надо думать, Бруклин для меня выбрали мои новоанглийские предки. Да, конечно, они были пионерами — но, боже мой, до чего они ненавидели всякий риск, кроме крупного! И я такой же. Когда я иду на риск, мне необходим порядок в мыслях.

Я решил, что в Бруклине буду так же избавлен от общества, как где-нибудь в Пизе, только здесь гораздо удобнее. Я знал, какого размера должен быть роман — для нескольких книг я произвел подсчет,— и купил сколько надо бумаги, подержанную машинку, резинки и карандаши. На это ушли почти все наличные. Наследство я поклялся не трогать, пока не примусь за работу. Но в тот солнечный осенний день, когда я сел в метро и поехал за реку искать квартиру, я чувствовал себя великолепно — честное слово, так, будто отправился на поиски клада.

В Бруклин меня завели, может быть, и предки, но вот почему я попал к миссис Фордж — совсем уж нельзя

понять. Старый Сражатель Саутгейт, тот, которого беспокоили ведьмы, вероятно, сказал бы о ее доме, что это демонская западня, нарядившаяся цветником. И, оглядываясь назад, не могу утверждать, что он ошибся бы.

Миссис Фордж открыла дверь сама — Сирины не было дома. Они давно говорили о том, чтобы дать объявление в газету, но так и не собрались; а повесить его на стену они, естественно, не желали. Я никогда бы не позвонил к ним в дверь, если бы дом не показался мне именно таким, о каком я думал. Тем не менее, когда она ко мне вышла, я счел, что ошибся. И знакомство наше началось с того, что я попросил прощения.

На ней было черное шелковое платье с белыми кружевными манжетами и воротником — словно она собралась ехать в коляске, с визитом. Стоило ей заговорить, я сразу догадался, что она южанка. У них у всех был такой голос. Описать его мне все равно не удастся. Нет ничего хуже подвыва южан — даже гундосый новоанглийский выговор приятнее. Но у них этого подвыва не было. Их голоса навевали мысли о солнце, неспешных послеполуденных часах и ленивых реках — и о времени, времени, времени, просто текущем как поток, никуда в особенности, но веселом.

Видимо, ей понравилось, что я попросил прощения: она пригласила меня войти и дала кусок фруктового пирога с лимонадом. Я слушал ее разговор, и чувство возникало такое, как будто я долго был замерзшим и только-только начинаю согреваться. В леднике всегда стоял кувшин лимонаду, но девушки охотнее пили кока-колу. Я видел, как они пили ее, придя с метели морозной зимой. Они вообще не уважали холод и потому делали вид, что его как бы не существует. Это было в их характере.

Комната оказалась точно такой, какую я хотел,— большая и солнечная, она выходила на маленький задний двор с останками декоративного кустарника и какой-то

долгомерной травой. Забыл сказать: дом стоял в старом переулке недалеко от Проспект-парка. Впрочем, неважно, где он стоял. Его, наверно, уже нет.

Знаете, мне пришлось собрать всю мою храбрость, чтобы спросить у миссис Фордж о цене. Она была очень вежлива, но почему-то я чувствовал себя ее гостем. Не знаю, будет ли это вам понятно. А она не смогла мне ответить.

— Видите ли, мистер Саутгейт,— сказала она мягким, кротким, беспомощным голосом, льющимся неудержимо, как вода,— очень жаль, что вы не застали мою дочь Еву. Когда мы приехали сюда, чтобы моя дочь Мелисса училась живописи, моя дочь Ева поступила на коммерческую должность. И как раз сегодня утром я ей говорю: «Ева, милая, представь себе, что Сирина отлучилась и приходит какой-нибудь молодой человек поинтересоваться этой комнатой. Ему надо что-то отвечать, деточка, и я буду в очень неудобном положении». Но тут мальчики на улице подняли крик, и я даже не расслышала как следует ее ответа. Так что если вы спешите, мистер Саутгейт, я просто не знаю, как нам быть.

— Я могу оставить задаток.— К этому времени я успел заметить, что в черном шелке дырка и что на ней стоптанные бальные туфли — неправдоподобно маленькие. И все равно выглядела она как герцогиня.

— Да, наверно, можете, мистер Саутгейт,— ответила она без всякого интереса.— Вы, северные джентльмены, все такие деловитые. Я вспоминаю, как говорил перед смертью мистер Фордж: «Зови их ч... янки, Милли, если тебе угодно, но нам надо жить с ними в одной стране, а я среди них встречал и безрогих». Мистер Фордж любил пошутить. Так что, понимаете, мы привыкли к северянам. Мистер Саутгейт, вы случайно не родственник Саутгейтам из Мобила? Сейчас ваше лицо на свету, и мне кажется, вы чем-то на них похожи.

Я не стараюсь воспроизвести ее выговор, он был едва слышен, почти незаметен. Но речь текла именно так.

Не только у нее, у дочерей тоже. В этом не было нервозности, и они не старались произвести впечатление. Разговаривать им было так же легко и покойно, как большинству из нас молчать; а что разговор никуда не вел — так они к этому и не стремились. Он был как наркотик — он превращал жизнь в сон. А жизнь, конечно, не сон.

В конце концов я просто отправился за вещами и въехал. Я не знал, сколько я плачу и какая еда будет включена в плату, но почему-то чувствовал, что все в должное время обозначится. Вот как подействовали на меня полтора часа в обществе миссис Фордж. Однако я твердо решил достигнуть ясности с «моей дочерью Евой», судя по всему распоряжавшейся делами семьи.

Когда я вернулся, мне открыла Сирина. Я дал ей пятьдесят центов, чтобы завоевать ее благосклонность, и она невзлюбила меня сразу и навсегда. Она была маленькая, черная, высохшая, с маленькими глазками-искрами. Не знаю, сколько она у них прожила, но мне представлялось, что она растет на семье, как омела, с незапамятных времен.

Когда она запевала на кухне, у меня было чувство, что она насылает на меня персональное проклятье. «Птичка сладкая моя,— заводила она речитативом,— со сладкой птичкою моей никто не улетит. Старый коршун крылья расправлял — хлоп, хлоп,— охотник с ружьем его увидал — хи, хи, хи,— старого коршуна стрелял, мою птичку сладкую не поймал».

Я прекрасно понимал, кто такой — старый коршун. Это может показаться смешным — но ничего подобного. Это было жутко. Ева не понимала меня: они относились к Сирине отчасти как к неизбежному неудобству, отчасти как к трудному ребенку. Я не могу уразуметь их отношение к слугам. Дружеское и вместе с тем величественное. Это противоестественно.

Может создаться впечатление, что я избегаю говорить о Еве. Сам не знаю, почему так получается.

Я разобрал вещи и устроился вполне уютно. Моя комната была на третьем этаже, в глубине, но я слышал, как возвращались домой девушки. Сперва дверь, потом шаги, потом голос: «Милая, до чего же я устала, еле тащусь», и отзыв миссис Фордж: «Да, милая, отдохни, пожалуйста». И так — три раза. Я немного удивился, почему они так устают. Позже я уяснил, что это просто так говорится.

А потом заводила свою речь миссис Фордж, и вся усталость куда-то девалась. Они очень оживлялись, и было много смеха. Мне стало неуютно. Потом я заупрямился. В конце концов, я же снимаю комнату.

Поэтому, когда ко мне постучалась Ева, я только буркнул: «Войдите», примерно как горничной. Она открыла дверь и нерешительно остановилась на пороге. Может быть, Мелисса поспорила с ней, что она не осмелится.

— Мистер Саутгейт, если не ошибаюсь? — произнесла она с сомнением, словно я мог оказаться чем угодно, вплоть до облака или комода.

— Доктор Ливингстон, насколько я понимаю? — ответил я. На стене висела старая картина: посреди джунглей из папье-маше чинно встречаются двое британцев. Но надо отдать ей должное: она поняла, что я дерзить не собирался.

— Мы, наверно, подняли страшный шум,— сказала она.— Но это больше Мелисса. Ее не сумели как следует воспитать. Вы не составите нам компанию внизу, мистер Саутгейт? Мы не ведем себя как ненормальные. Мы просто шумим так.

Она была темноволосая, только, знаете, с белой кожей. Есть такой цветок фризия — когда лепестки у нее совсем белые, они как раз цвета ее кожи. У него сильный аромат — сильный и в то же время призрачный. Он пахнет, как весна, населенная призраками, в предвечерние часы. И есть такое слово *очарование*. Оно тут было.

У нее были мелкие белые зубы и розовые губы. И одна большая веснушка в ямке под горлом — не знаю, как ей

удалось обзавестись всего одной. Луиза была красавица, а Мелисса художница. Так они распределились. Я не мог бы влюбиться в Луизу или в Мелиссу. Однако мне нравилось видеть их вместе — трех сестер,— мне хотелось бы жить в большом прохладном доме у реки и всю жизнь употребить на то, чтобы видеть их вместе. Какие дурацкие мысли бывают в молодости. Я двоюродный брат с Севера, управляющий имением. С этим я отправлялся ко сну каждую ночь, месяц за месяцем.

Миссис Фордж там не было, Сирины тоже. Имение было обширное, тянулось на мили и мили. Земля большей частью неважная, негры совсем обленились, но я заставлял их работать. Я вставал спозаранку, в тумане, и проводил целый день в седле, надзирал и планировал. Но всегда возвращался на усталой лошади по цветочной аллее, а они ждали меня на веранде, трое в белых платьях, вместе, как букет.

Встречали меня ласково, потому что устал, и я поднимался в комнату, выходившую на реку, чтобы переменить распаренную одежду и умыться. Потом Ева присылала мне бокал прохладительного с листиком мяты, и я его не спеша выпивал. После ужина, если я не занимался счетами, они пели или мы все играли в какую-то глупую игру с костяными фишками. Думаю, что бóльшую часть этого я заимствовал из книг, но все представлялось мне очень жизненным. Вот в чем беда с книгами — ты из них заимствуешь.

Мы часто доживали до старости, но она нас почти не меняла. Время от времени остальные сестры выходили замуж, а иногда я женился на Еве. Но у нас никогда не было детей, и никто из нас не уезжал оттуда. Я по-прежнему работал как вол, они это ценили, а я был доволен. Сперва у нас было порядочно соседей, но они мне надоели. Тогда я превратил плантацию в остров на реке, куда можно добраться только на лодке,— стало удобнее.

Понимаете, это была не мечта, не что-то такое сахарное.

Я это просто выдумал. К концу года я лежал без сна часами, все выдумывал — и почему-то это совсем не надоедало. Еве я, в общем, ничего не рассказывал, даже когда мы обручились. Может быть, от этого что-то изменилось бы, но едва ли.

Она была не из тех, кому рассказываешь свои мечты. Она в мечте пребывала. Не в том смысле, что она была возвышенная, роковая или бесплотная. Я обнимал ее, она была теплая и живая, от нее можно было иметь детей — так уж устроена жизнь. Но дело не в этом, совсем не в этом дело.

У нее и воображения было маловато. Как и у всех у них. Они просто жили, как деревья. Не планируя, не предусматривая. Сколько я потратил часов, объясняя миссис Фордж, что если у тебя есть десять долларов, это не просто десять долларов, это сумма, которую можно поместить в сберегательный банк. Она слушала очень вежливо. Но для нее десять долларов были всего лишь тем, что расходится. Они считали, что иметь деньги — очень хорошо, но так же хорошо, они считали, иметь красивый нос. Деньги для них были чем-то вроде дождя — он проливается или не проливается,— и знали, что заставить его пролиться никак нельзя.

Уверен, что они никогда бы не переехали на Север, если бы не какая-то смутная семейная тяжба. По-моему, они сами часто недоумевали насчет нее. Я слышал разговоры о тяжбе десятки раз, но так и не уловил ее сути — она как-то касалась железнодорожной ветки к скипидарному заводу и кузины Беллы. «Кузина Белла вела себя некрасиво, совсем забыла о манерах,— мирно говорила миссис Фордж.— Она не оставила нам никакого выхода, Баннард... ну просто никакого». И тут вступали сестры. Мне кажется, что деньги для поездки на Север они добыли, продав землю скипидарному заводу,— но даже в этом я не уверен.

Во всяком случае, золотые грезы у них были — как же

иначе? Луиза станет великой актрисой, Мелисса — великой художницей... а Ева... Не скажу, чего именно ожидала Ева,— даже теперь не скажу. Но чего-то особенного. И все это должно прийти без настоящего труда, пролиться из облака. Ну да, Мелисса и Луиза ходили на курсы, а Ева на работу, но это, чувствовалось, только полустанок. Переждать, пока прольется облако, просыплет манну.

Но к чести их, они как будто не огорчались, что их грезы разлетаются прахом. Всерьез огорчался один человек — я.

Потому что я им верил — поначалу. Как же иначе? Моя выдумка была не совсем выдумкой. Они жили на острове — острове посреди Бруклина,— на клочке страны, который привезли с собой. К ним ходили гости — студенты-художники и прочие, в доме всегда было полно молодежи. И, попав в дом, они покорялись его власти. Сирина подавала на ужин холодную ветчину, а ты, глянув в окно, с удивлением видел снег: ведь оно должно быть открыто, а в нем — южная ночь. Не знаю, каких жильцов они пускали прежде, но при мне нас было только двое: мистер Бадд и я. Он был толстенький чиновник, очень респектабельный и жил здесь из-за кормежки, потому что Сирина была великолепной, расточительной стряпухой.

Да, я верил, верил всему. Это было как колдовство. Это было очарование. Я верил всему, что они говорили, я видел, как они возвращаются в Чантри, три знаменитые сестры со своими выдающимися мужьями,— точно герои сказки.

Завтракали мы все вместе, но много говорил при этом один мистер Бадд. Мать и сестры вполне оживали только к середине дня. За завтраком ты видел их сквозь вуаль. Глядя на Еву, я иногда чувствовал сердцебиение: так смотришь на нераскрывшийся цветок в оранжерее и ждешь, затаив дыхание, когда распустится это закрытое таинственное нечто. Причина, видимо, была в том, что она долго пробуждалась.

Потом мистер Бадд и девушки уходили, потом убирали мою постель, я поднимался к себе и садился работать. Я не распространяюсь о своем романе, но работал я над ним усердно. Я начертил на картоне таблицу с 365 квадратиками и каждый день вычеркивал по одному.

Обедал я в городе, после чего гулял. Человек нуждается в физических упражнениях, а это упражнение — бесплатное. Потом я опять работал, а потом возвращались они. После их возвращения я не мог работать — это удавалось только в первые месяцы. Но я старался не прислушиваться к шагам Евы.

Первый раз я поцеловал Еву в новогоднюю ночь. Один из поклонников Луизы принес красное вино, мы пели и баловались. Сирину на вечер отпустили; мы с Евой пришли на кухню за чистыми бокалами. Нам было весело, и это получилось само собой. Я и вспомнил об этом только к концу следующего дня, когда мы все вместе пошли в кино. И тут я вдруг задрожал, как будто от воспоминания начался озноб, она спросила: «Милый, что с тобой?» — и ее ладошка очутилась в моей руке.

Так у нас началось. И в тот вечер я начал выдумывать плантацию на реке. Я не дурак и кое-что повидал в жизни. Но эту девушку я держал за руку весь январь, февраль и почти весь март, прежде чем поцеловал ее снова. Она не стеснялась, не ломалась, не сопротивлялась. Мы будто плыли в одной лодке по течению, и так приятно было смотреть на нее, находиться рядом с ней, что ничего больше не было нужно. Боль еще не началась.

И однако, все эти месяцы что-то возилось, возилось во мне, гнало из лодки, гнало с реки. Понимаете, не моя это была река. Никогда не была моей. И какой-то частью я это понимал. Но когда любишь, здравый смысл отнимается.

К концу марта роман был написан больше чем наполовину. Два месяца я отвел на редактирование и хождение по издательствам — разумный, мне казалось, срок.

А однажды вечером — он был холодным — мы с Евой пошли гулять в парк. Вернулись, миссис Фордж дала нам горячего какао — сестры почему-то улеглись раньше — и, пока мы пили, уснула в своем кресле. А мы поставили чашки, словно это был сигнал, и поцеловались — в доме было очень тихо, и сквозь долгий поцелуй мы слышали ее дыхание, будто это дышал сам сон.

А утром я проснулся, и воздух был теплым, кусты во дворе оделись листьями. За завтраком Ева была такая же, как всегда — закрытая и таинственная, и я был таким же, как всегда. Но, сев за работу, я погрозил кулаком старому Сражателю Саутгейту, тому, которого беспокоили ведьмы. Потому что я женюсь на Еве, и пошел он в болото.

Говорю вам, они не планировали и не предусматривали. Я откровенно объяснил миссис Фордж свое положение — финансы и прочее,— и они восприняли это с большим удовольствием.

Все были добры и взволнованы настолько, насколько возможно,— все, кроме Сирины. Она просто не желала верить и пела много нового о коршунах. И почему-то я почувствовал себя еще более странно, чем всегда. Я знал, что Сирина меня ненавидит, но я знал, что она человек реальный. Ее я мог понять, она стояла на земле. А остальных я любил, но не понимал, и порой не вполне был уверен в том, что они реальны. Это относится и к Еве, хотя мы любили друг друга.

Я мог целовать ее, но когда целовал, не был уверен, что она непременно тут. Это не холодность, а просто другой климат. Я мог часами рассуждать о том, что мы будем делать, когда поженимся, и стоило мне остановиться, она просила: «Говори, милый, мне так приятно тебя слушать». Но так же приятно ей было бы, если б я пел. Честное слово, я не рассчитывал, что она поймет галантерейное дело или хотя бы литературное. Но иногда мне попросту казалось, что мы говорим на разных языках. Конечно, глупость — ведь она была не иностранка.

Помню, однажды вечером я на нее рассердился, узнав, что она до сих пор переписывается со своим кавалером на Юге и даже не обмолвилась о нас. Она раскрыла глаза.

— Милый,— сказала она самым рассудительным тоном,— ведь я не могу вот так вдруг оборвать нашу переписку с Ферфью. Мы с Ферфью всю жизнь были как бы жених и невеста.

— Теперь ты моя невеста.

— Я знаю,— сказала она.— Поэтому я и не могу оборвать переписку. Если бы он узнал, что я перестала ему писать, потому что я твоя невеста, его бы это ужасно ранило.

— Подожди,— сказал я, не понимая, кто из нас сумасшедший,— мы с тобой поженимся?

— Конечно, милый.

— Тогда при чем здесь этот Ферфью? Ты моя невеста или его невеста?

— Конечно, я твоя невеста, милый, и мы поженимся. Но Ферфью нам почти как родственник, и мы с ним давным-давно помолвлены. А так вот вдруг порвать — по-моему, грубо и некрасиво.

— Не верю я. Не верю ни в каких Ферфью. Такую невидаль только в колбах выращивают. Какой он из себя?

Она надолго задумалась.

— Он симпатичный,— сказала она наконец.— Но у него такие черные усики.

Мне удалось, однако, выяснить, что он владеет скипидарным заводом и почитается у них в Чантри чем-то вроде Рокфеллера. Я давно свыкся с мыслью, что ни у кого в Чантри нет денег, стоящих того, чтобы их пересчитали, и это была для меня неприятная новость. После нашего разговора Ферфью пытался приставать к плантации на новеньком катере с красно-белым тентом, и я неоднократно предостерегал его охотничьим ружьем.

А потом начались денежные дела. Когда любишь де-

вушку, хочется делать ей подарки, хочется вести себя правильно. Видит бог, Ева не была выжигой — она так же обрадовалась бы бутылке лимонада, как паре заграничных перчаток. С другой стороны, и паре перчаток обрадовалась бы так же.

С работой я укладывался в расписание, с деньгами мне не удавалось. Каждую неделю я немного перебирал. Говорю вам, люди в книгах не понимают про деньги. Те, кто их пишет, могут рассказать, каково быть нищим. Но они не расскажут, каково это, если у тебя есть чем прикрыть наготу и утолить голод, а заветное чувство твое зависит от денег, которых нету.

Конечно, я мог бы вернуться к галантерейному делу, а Ева — работать и дальше. Девять человек из десяти с этим бы примирились. С этим не могло примириться мое отношение к Еве. Так бывает.

Я хотел бы явиться к ней... ну, наверно, избавителем. Принцем, кузеном с Севера, спасающим плантацию на реке. Я не желал довольствоваться тем, что есть, мне нужно было все. Очарование не берут со скидкой. Так я к этому отношусь.

Кроме того, я вложил в роман восемь месяцев работы, и мне казалось неразумным все это выбросить. Он мог стать лесенкой к выходу. Мог бы стать.

Ева никогда не сетовала, но и не понимала меня. Только говорила, что мы все могли бы уехать к ним и жить в Чантри. Но не такой я человек. Если бы дело шло только о плантации на реке! Нет, теперь я знал Чантри так, как если бы там родился, и делать мне там было совершенно нечего. Разве поступить к Ферфью на скипидарный завод. Вот была бы прелесть!

Постепенно выяснилось, что и у Форджей завиднелось дно кошелька. Узнавать это приходилось обиняками — о таких предметах у них прямо не говорили. Но когда ты тратишь то, что у тебя есть, рано или поздно «есть»

превращается в «нет». Только почему-то их это всегда удивляло. Жаль, что я не так устроен.

Была уже середина июля, и как-то днем в субботу, вернувшись домой, Ева сказала, что ее уволили из конторы. Сокращают штаты. А я как раз занимался своими счетами и, услышав ее новость, захохотал так, что, казалось, не смогу остановиться.

Сперва она удивилась, потом засмеялась сама.

— Милый,— сказала она,— от тебя умереть можно. Ты все воспринимаешь очень серьезно. А то вдруг — совсем несерьезно.

— Это старый обычай северян,— сказал я.— Называется «Смейся, паяц». Ева, скажи ради бога, что нам делать?

— Ну что, милый, я, наверно, могу подыскать другое место.— Она ни разу не сказала, что это зависит от меня. И ни за что бы не сказала.— Но мне эти конторки немножко опротивели. А ты как думаешь, милый, мне надо искать другое место?

— Родная моя,— сказал я, продолжая смеяться.— Главное — мы с тобой, все остальное не имеет значения.

— Это очень мило с твоей стороны,— сказала она с явным облегчением.— Я и сама так думала. А когда мы поженимся, мы все прекрасно устроим для Луизы и Мелиссы, правда? И для мамы, конечно,— потому что она просто не выносит кузину Беллу.

— А как же. Как же. Вот поженимся и все устроим.— И мы пошли во двор полюбоваться кустами. Но в ту ночь Ферфью причалил свой катер к южной оконечности острова и высадился на сушу. Он разбил там лагерь, и всю ночь я видел в бинокль его костер.

Следующие два месяца я не сумею описать связно. Мечта и действительность совершенно перепутались. Мелиссе и Луизе пришлось бросить курсы, так что все мы сидели дома, и в дом к нам ходило много людей. Из них одни были гостями, другие кредиторами, но и те и другие обычно оставались поесть. Сирина никогда не возражала,

она любила общество. Помню, как под конец я заплатил по счету из гастронома практически остатками моего наследства. Там было восемь окороков и десять ящиков кока-колы. За них давно не платили.

Часто мы набивались в старый фордик студента-художника и ехали на пляж. Ева была равнодушна к купанию, но обожала валяться на песке. Я лежал с ней рядом, счастливый до боли, и мы почти не разговаривали. Господи, какая она была красивая среди этих пляжных красок — зелени воды, горячего белого и бежевого песка. Хотя и там, на веранде, в плюшевой качалке, под зеленой лампой она была такой же красивой.

Говорят, что время между выходом южных штатов и бомбардировкой Самтера* было одним из самых веселых сезонов за всю историю Чарлстона. Могу понять. Они подошли к самой грани чего-то, и дальше все зависело от судьбы. У меня возникло именно такое чувство.

Все перепуталось, говорю вам, все перепуталось. Я сидел на пляже с Евой и в то же время объезжал плантацию на реке, выслушивал доклады помощника, составлял планы на годы вперед. Я полюбил это место. До самого конца оно оставалось безопасным — оно не менялось. Конечно, все больше и больше тревог причинял нам Ферфью; он продвигался с юга, но до боевых действий так и не дошло — лишь стычки между нашими людьми.

Тем временем я кончил роман и принялся за редактирование. Ева иногда спрашивала, почему бы нам не жениться несмотря ни на что, но я знал: нельзя. Нельзя жениться, если впереди никакого будущего. И вот у нас начались споры, и это было нехорошо.

Почему я просто не соблазнил ее, как сильные, смелые герои книг? Да, временами я думал, что это для обоих нас было бы каким-то решением. Но этого не произошло.

* Большинство южных штатов вышли из Союза к февралю 1861 года. Южане приступили к бомбардировке форта Самтер 12 апреля 1861 года — это было началом Гражданской войны.

Не из-за стыда, не из-за благородных принципов. Не так-то просто соблазнить мечту.

Я знал, что они переписываются, но больше ничего не желал знать. Я знал, что наследство истрачено и счет мой тает, но мне было все равно. Я хотел только, чтобы это не кончалось.

Наконец я услышал, что Ферфью приезжает на Север. Я тогда целыми днями ходил как лунатик, и поначалу новость меня не ушибла. А потом ушибла.

Мы с Евой сидели на дворе. Мы починили старые качели, и были сумерки. Сирина пела на кухне «Старый коршун теперь улетит... улетит старый коршун». Я не умею петь, но помню, как она это пела. Странно, что́ нам западает в память.

Голова Евы лежала у меня на плече, я обнимал ее. Но мы были далеко друг от друга, как Бруклин и Нью-Йорк со снесенными мостами. Кто-то с кем-то обнимался, но это были не мы.

— Когда он приезжает? — спросил я наконец.

— Он едет на своем автомобиле,— сказала она.— Он выехал вчера.

— Младой Лохинвар* на ста лошадях,— сказал я.— Ему надо поосторожней на наших дорогах. У него хороший автомобиль?

— Да,— сказала Ева.— Он у него красивый.

— Ох, Ева, Ева,— сказал я.— И у тебя не разрывается сердце?

— Зачем ты, милый? Иди ко мне.

Мы долго сидели обнявшись. Она была очень нежна. Я буду это помнить.

Я не ложился почти до утра, заканчивал редактирование. И перед тем как я уснул, Ферфью приблизился к дому на плантации и вошел. Я стоял в прихожей и не мог поше-

* Герой поэмы Вальтера Скотта «Мармион». Увозит со свадьбы свою возлюбленную, ставшую невестой другого человека. У нас известен вольный перевод И. И. Козлова «Беверлей».

велить рукой. Тогда я понял, что будет.

Он явился во плоти назавтра, к концу дня. Да, автомобиль был хороший. Но сам он ничуть не походил на Бенедикта Арнолда*. Он был высокий, черноволосый, с мягким голосом и одет так, как у них принято. И старым он не был — не намного старше меня. Но когда я увидел его рядом с Евой, я в ту же минуту понял, что все кончено. Достаточно было на них посмотреть. Они были одного племени.

Ну конечно, он был вполне деловой человек. Это я понял через минуту. Но, под всеми поверхностными различиями, они были одного племени. Верность, подлость тут ни при чем. Они были кошки одной породы. Если ты собака и полюбил кошку, тебе просто не повезло.

Он привез с собой кукурузное виски, и мы просидели за бутылкой допоздна. Беседу мы вели ужасно вежливо и благородно и тем не менее дело утрясли. Занятно то, что он мне нравился. Он был младой Лохинвар, он был малый не промах, он был моей погибелью и крушением, но я ничего не мог с собой сделать. Он мог бы приехать к нам на остров, если бы мы поженились с Евой. Он был бы нам большим подспорьем. Я бы выстроил ему дом у бухточки. Вот что забавно.

Назавтра все они поехали в его автомобиле на пикник, а я остался дома и читал свой роман. Я пытался сделать героиню похожей на Еву, но даже это не помогло. Иногда берешься за такую игрушку: пока не запустил ее в производство, кажется, что она захватит всю страну. А когда запустил, думаешь только о том, как бы ограничить убытки. Вот это был тот же случай.

Я отнес его к топке и наблюдал, как он горит. Попробуйте сжечь четыреста листов бумаги в холодной топке. Вы удивитесь, сколько на это уходит времени.

На обратном пути я прошел через кухню, там была

* Генерал, изменник Американской революции.

Сирина. Мы поглядели друг на друга, и она положила руку на хлебный нож.

— Мечтаю увидеть, как ты горишь в пекле, Сирина,— сказал я. Мне давно хотелось это сказать. Потом я поднялся к себе, и взгляд ее колол мне спину, как острие хлебного ножа.

Что-то кончилось — вот с каким ощущением я лег на кровать. Не только Ева, не только роман. А наверно, то, что вы называете молодостью. Ну да, мы все с ней рано или поздно расстаемся, но чаще она угасает незаметно.

Я долго лежал без сна, без мыслей. И я слышал, как они вернулись, а немного погодя тихо отворилась дверь — я понял, что это Ева. Но глаза у меня были закрыты, и я не пошевелился. И немного погодя она ушла.

Вот и весь почти рассказ. Ферфью все организовал — не рассказывайте мне, что южане не умеют действовать живо, когда хотят,— и пришли упаковщики, и четырьмя днями позже они все отправились к себе в Чантри на автомобиле. Ферфью, видимо, не хотел искушать судьбу, но он напрасно беспокоился. Я-то знал, что все кончено. И не взволновался даже тогда, когда услышал, что кузина Белла «образумилась». Меня это уже не касалось.

На прощание Ева меня поцеловала — поцеловали все, если на то пошло,— и мать и три сестры. Перед путешествием на автомобиле и возвращением домой они были веселы и возбуждены. Поглядеть на них — не поверишь, что они когда-нибудь видели кредитора. Но такие уж они были люди.

— Не пиши,— сказал я Еве.— Не пиши мне, мадам Лохинвар.

Она нахмурила брови, что означало недоумение.

— Как это, милый, конечно, я буду писать,— сказала она.— Почему же не писать, милый?

Не сомневаюсь, что она и впрямь писала. И даже вижу ее буквы. Но писем я не получал, потому что адреса при переезде не оставил.

А вот кто был в самом деле ошарашен — это мистер Бадд. Мы обретались в доме еще неделю, сами добывали еду, спали под пальто — срок найма истекал только первого, и Ферфью договорился с хозяином. А мистер Бадд никак не мог опомниться.

— Я всегда знал, что они ненормальные,— говорил он.— Но такой кухни мне больше не видать.— Ясно было, что он озирает перспективу меблированных комнат.— Вы молоды,— говорил он.— Вы можете съесть что угодно. Но когда доживешь до моего возраста...

Он, однако, ошибался. Я не был молодым. Если был бы, то не потратил эту неделю на изобретение трех новых игрушек. Две оказались ерундой, зато третья была Плясунья Соня. Вы ее видели — эта пляшущая куколка заполонила всю страну, когда увлекались чарльстоном. Сперва я сделал ей лицо Сирины, но оно было чересчур натуральным, и мы его изменили. Бóльшая часть выручки досталась другим людям, но мне было все равно. Да и не любил я чертову куклу. Зато она позволила мне открыть собственное дело.

А потом меня уже было не остановить. Когда ты избавился от молодости, остановить тебя гораздо труднее. Нет, я не вижу тут иронии или чего-то такого. Ее только в книгах увидишь. То было одно, а это — другое, и они никак не связаны.

Осенью я познакомился с Мэриан, и через год мы поженились. Она была очень разумная девушка, и все у нас получилось как нельзя лучше. Может быть, детьми мы обзавелись рановато, но она всегда хотела детей. Когда у тебя дети и дом, ты и сам становишься устойчивее. А что зачитывается книжками про любовь — пусть ее. Лишь бы меня не заставляла.

В книге я столкнулся бы с Евой или набрел на фамилию Ферфью в газете. Но этого не случилось и, думаю, никогда не случится. По моим представлениям, они все еще живут в Чантри, а такими местами, как Чантри, газеты не ин-

тересуются. Одного только не могу себе представить — чтобы кто-нибудь из них умер.

Кстати, я бы не отказался увидеть Ферфью. Я говорю — он мне понравился. Упрекнуть его могу только в том, что он увез их раньше, чем истек срок найма. Нет, все правильно, у него были свои причины. Но им оставалось еще две недели — две недели до первого. И тогда был бы ровно год.

А теперь, когда я ложусь спать, на соседней кровати лежит Мэриан — и тут тоже все правильно. Вернуться на речную плантацию я попробовал лишь однажды — после съезда в Чикаго, и был я сильно навеселе. Только попасть мне туда не удалось. Я стоял на другом берегу и видел дом за рекой. Такой же, как всегда, но выглядел он необитаемым. По крайней мере, никто не подошел к окну... никто не вышел.

Все были очень милы

Да, с последней нашей встречи я, наверно, растолстел, хотя и ты не похож на голодающего. Конечно, вам, лекарям, надо держать форму — больше следите за собой, чем мы, коммерсанты. По выходным стараюсь играть в гольф, иногда хожу на яхте. Но на встрече выпускников, когда играли в бейсбол, четырех раз на подаче мне хватило. Ушел с поля, уступил место Арту Корлиссу.

Жаль, что тебя не было. Все-таки двадцатилетие — это веха, и выпуск гордится своей знаменитостью. Как там было в журнале: «Самый блестящий молодой психиатр страны»? Я, может быть, психиатрию от подкидного не отличу, но показал статью Лайзе, говорю, это наш Спайк Гаретт,— и знаешь, произвело впечатление; редкий случай. Биржевиков она считает довольно серой публикой. Хорошо бы ты как-нибудь пришел к нам обедать — покажу тебе квартиру, близнецов. Нет, наши с Лайзой. Оба — мальчики, представляешь? А остальные — у Салли. Барбара уже совсем взрослая.

Словом, грех жаловаться. Пусть я не так знаменит, как ты, но на хлеб зарабатываю, несмотря на всякие мозговые тресты, да еще дом на Лонг-Айленде приходится держать. Жаль, что ты так редко наведываешься на Восток,— вид из гостевого домика отличный, на пролив, а если бы тебе захотелось, например, усесться писать книгу, мы бы тебе не докучали. Вот уже два года меня именуют партнером — видимо, так оно и есть. До сих пор их дурачу. А если серьезно, фирма у нас симпатичная. Дела ведем

осмотрительно, но это не значит, что мы забурели, как утверждают ретивые. Вообще, тебе бы стоило прочесть, что о нас написали в последнем номере «Боул-стрит джорнел». Напомни, чтобы я тебе показал.

Но узнать-то мне хочется о твоей работе... помнишь наши университетские разговоры? Спайк Гаретт, Маг Медицины! Я ведь даже пару книг твоих прочел, старый прохвост,— веришь или нет? Ты меня порядком запутал этим делом с Id и Ego*. Но я скажу: если такой человек, как Спайк Гаретт, в это верит, значит, в этом что-то есть. Есть ведь, правда? Нет, понимаю, с ходу ты мне ответа не дашь. Но постольку поскольку система есть... и лекаря ведь знают что делают.

Спрашиваю, конечно, не о себе — помнишь, ты называл меня 99-процентно нормальным человеком? Вряд ли я изменился. Просто в последнее время стал задумываться, и Лайза говорит, что хожу, как медведь с похмелья. Не в том дело. Просто задумываюсь. Человеку надо время от времени задуматься. Да и встреча выпускников, знаешь, все всколыхнула.

Я что хочу сказать — в университете все казалось более или менее ясным. Конечно, это вон когда было — в пятнадцатом году, но я помню, как мы тогда думали. Влюбляешься в девушку, женишься на ней, заводишь дом, детей — и весь разговор. Не хочу упрощать — ты, конечно, знал, что люди разводятся, так же как знал, что они умирают, но с тобой такое едва ли случится. Особенно если ты родом из маленького городка на Западе, как я, например. Да что там, помню, когда я был мальчишкой, развелись Прентиссы. Люди очень заметные, весь город был потрясен.

* Id — оно *(лат.)*, в психоанализе — область бессознательного, источник инстинктивной энергии, стремящейся реализовать себя на основе принципа удовольствия. Ego — я *(лат.)* — область психики, воспринимающая внешний мир и реагирующая на него, является посредником между примитивными импульсами Id и требованиями физической и социальной среды.

Вот почему испытываю потребность в этом разобраться. В донжуаны я никогда не метил — не тот склад. И однако, мы с Салли разошлись, завели новые семьи, и, по правде говоря, жизнь не очень ладится. О Лайзе не могу сказать ни одного дурного слова. Но не ладится. И не у меня одного. Куда ни посмотри — то же самое; поневоле задумаешься.

Не буду утомлять тебя рассказами о себе и Салли. Да и зачем — ты был шафером, она тебя всегда любила. Помнишь, как ты к нам приезжал? Она не изменилась — все та же легкая улыбочка... но, конечно, стареем, не без того. Муж ее тоже врач,— смешно, а? — живут они недалеко, в Монтклере. У них приятный дом, и сам он там на очень хорошем счету. А мы жили в Медоуфилде, помнишь?

Помню нашу с ней первую встречу после того, как она вышла за Макконеги... знаешь, у нас вполне дружеские отношения. У нее был красный лак на ногтях и новая прическа, тоже короткая, но другая. И на сумочке — новые инициалы. Забавно — увидеть свою жену в незнакомом платье. Кстати, мы с Лайзой женаты восемь лет, а разошелся я в двадцать восьмом.

Ну, конечно, летом у нас гостят дети. Нынче летом приедет Барбара — Бада отправляют в лагерь. Бывает и сложновато, но стараемся. Как же иначе? Тем более, летом на Лонг-Айленде не соскучишься. Лайза с ними отлично ладит — Салли правильно их воспитала. Да и сам Макконеги со мной очень мил. Дал мне замечательную пропись от простуды — теперь запасаюсь каждую зиму. И Джим Блейк — первый муж Лайзы, теперь мы стали с ним встречаться — вполне интересный человек. В общем, мы все ведем себя ужасно мило — милее и вежливее некуда. И я иногда думаю: а не лучше было бы, если бы кто-нибудь стал закатывать истерики и бить посуду. Это, конечно, шутка.

Ты приехал к нам на выходные в Медоуфилд — может

быть, не помнишь,— когда Баду было месяцев шесть, а Барбара уже бегала вовсю. Дом был неплохой — если ты помнишь этот дом. В голландском колониальном стиле, и вентиль в кладовой тек. Хозяин беспрестанно чинил его и все не мог починить. А когда ты сдавал задом в гараж, надо было круто завернуть влево. Но Салли любила нашу японскую вишню, и дом был неплохой. Со временем мы думали построиться на Роуз-Хилл-род. Денег, правда, еще не было, но участок присмотрели и рисовали планы. Салли вечно забывала отметить на плане двери, и мы над этим смеялись.

Был обыкновенный вечер, ничего исключительного. После ужина мы уселись на лужайке в шезлонгах и пили Саллино пиво — это было задолго до отмены сухого закона. Шезлонги мы покрасили сами в прошлое воскресенье и очень ими гордились. Стемнело поздно, зато потом подул ветерок, а один раз Бад запищал, и Салли пошла к нему. По-моему, на ней было белое платье, летом она часто надевала белое — шло к ее голубым глазам и пшеничным волосам. Словом, вечер как вечер — и даже легли мы не поздно. Но были все вместе. И если бы ты мне сказал, что через три года у нас обоих будут новые семьи, я бы решил, что ты бредишь.

Потом ты уехал на Запад, помнишь? — мы проводили тебя до поезда. Все происходило уже без тебя... и, честно говоря, я сам не припомню, когда мы начали встречаться с Блейками. Они тогда поселились в Медоуфилде, но мы с ними не были знакомы.

Джим Блейк был из тех симпатичных, очень некрасивых мужчин, которые носят стальные очки, преуспевают в юриспруденции и никогда не выглядят ни молодыми, ни старыми. А Лайза была... Лайза. Она смуглая, знаешь, и ей очень идет загар. Она первой у нас стала носить настоящий купальный костюм и пить томатный сок, когда все пили коктейли. Она была очень хорошенькая, очень занятная — всегда масса затей. У них часто бывали гости,

Лайза это любит — опять же, у нее собственный доход. Они с Джимом имели обыкновение забавно цапаться на людях — не всерьез или, может быть, не совсем всерьез. У них была маленькая дочь Сильвия, и Джим в ней души не чаял. Понимаешь, все это как бы вполне нормально, правда? — и даже то, что у них такой же точно эрдель, как у тебя самого. Ну и нам это казалось нормальным, и скоро они влились в нашу компанию. Объяснять тебе не надо: компания молодых женатых людей в любом пригороде.

Ну и, конечно, двадцать восьмой год, бум в разгаре, настроение у всех приподнятое. Да, отчасти, наверно, дело было в этом — в деньгах, в ощущении, что жизнь все бойчее и бойчее и остановки не будет. Да ведь Салли сама говорила, что нам надо раскрутиться, нельзя обрастать мхом, пока молоды. В самом деле, несколько лет — с маленькими детьми и прочим — нам было не до развлечений. И так приятно снова почувствовать себя молодым и легким, купить новую машину, устроить вечер для друзей из клуба, не беспокоясь о том, из чего заплатишь домохозяину. Ничего предосудительного в этом не вижу.

И конечно, мы много болтали и шутили о свободе и всякой такой штуке. Ты ведь знаешь эти рассуждения — тогда все рассуждали в таком духе. И что мы — не нафталиновые ханжи, и что живем один раз. И есть старшее поколение и молодое поколение. Многое из этого я уже забыл, но помню, была такая идея, что любовь это не только слова, которые вам пробормочет священник, а что-то особенное. Между прочим, сочетал нас старик Снелл, а голос у него был такой, что слышали в соседнем округе. Но я тоже рассуждал о бормотании священника. Короче, мы были просвещенные люди, понимаешь? И весьма этим гордились. Когда в Бостоне запретили одну книгу, наша библиотека выписала еще шесть экземпляров. До сих пор помню нашу большую дискуссию о полной свободе в браке — даже заядлые республиканцы выступили как радика-

лы. Кроме Чика Бьюлея — но он был странный фрукт и не верил даже в то, что курсы акций так и останутся высокими.

А тем временем мы ездили на поезде 8.15, наши жены ходили в стандартный магазин и спрашивали: а латук у вас правда хороший? С виду, по крайней мере, все обстояло так. И если компания дразнила меня тем, что я неравнодушен к Мери Сеннет, или тем, что Макчёрч на обеде в клубе поцеловал Салли в ухо,— ну что ж, мы были молодые, мы были современные, нас это не смущало. Я не собирался идти с ружьем к Маку, а Салли — устраивать мне сцены ревности. Нет, у нас все было доведено до науки. Определенно.

Боже мой, мы приглашали обедать Блейков, они — нас. Они заходили выпить, мы заходили к ним. Все — совершенно нормально, совершенно по-компанейски. Между прочим, Салли с Джимом Блейком играли в паре в гандикапе и дошли до полуфинала. Нет, я с Лайзой не играл, она не любит гольфа. Это я к тому, как все было.

Могу вспомнить минуту, когда это началось,— ничего особенного, на вечере у Бьюлеев. У них просторный нескладный дом, гости бродят повсюду. Мы с Лайзой забрели на кухню — взять выпивку для гостей на террасе. В тот вечер на ней было черное платье с каким-то большим оранжевым цветком. Он не всякой бы пошел — но ей шел.

Мы разговаривали, как все, и вдруг замолчали и посмотрели друг на друга. И на минуту я почувствовал себя так... словом, как тогда, когда влюбился в Салли. Только теперь со мной была не Салли. Это случилось так неожиданно, что у меня была только одна мысль: «Остерегись!» Словно вошел в темную комнату и ушибся локтем. Вот это, наверно, и есть настоящее, а?

Мы сразу взяли то, что надо, и вернулись к остальным. Она только одно сказала: «Джо, тебе кто-нибудь говорил, что ты опасный человек?» — сказала так, как у нас принято было говорить подобные вещи. Но все равно это

произошло. В машине по дороге домой я все время слышал ее голос. А Салли тем не менее любил как всегда. Ты едва ли мне поверишь, но это правда.

А на другое утро я стал убеждать себя, что это ничего не значит. Салли была не ревнива, и все мы были современные, передовые и понимали, что такое жизнь. Но когда мы снова встретились с Лайзой, я понял, что обманывал себя.

Я хочу сказать вот что. Если ты думаешь, что это были сплошные розы и романтика, ты ошибаешься. Боли было хоть отбавляй! И тем не менее все нас подзуживали. Вот чего я не пойму. Они, конечно, не хотели, чтобы Пейнтеры и Блейки развелись, но им было очень интересно. Для чего люди это делают, а? Некоторые старались усадить нас с Лайзой рядом, другие — наоборот. Но суть в итоге была одна и та же: происходил цирк, и артистами были мы. В цирке интересно смотреть на канатоходцев, и ты, конечно, надеешься, что они не оступятся. Но если оступятся — это тоже интересно. Нашлись, конечно, и такие, кто хотел нас, как говорится, предостеречь. Но это все были люди постарше, и мы только злились.

Все были очень милы, внимательны и чутки. Все были очень милы, понятливы и тактичны. Пойми меня. С Лайзой мне было необыкновенно хорошо. Это было новое, волнующее. И кажется, ей тоже было хорошо, она была несчастлива с Джимом. Поэтому я не чувствовал себя таким уж подлецом — хотя, конечно, время от времени чувствовал, изрядным. А когда мы встречались, все было чудесно.

Раза два мы всерьез пробовали это прекратить — два раза, не меньше. Но компания у нас была общая, и что тут можно сделать, удрать разве? Добро бы только удрать — нет, это значило еще уступить нафталиновым ханжам, бормотуну-священнику и всему, во что мы отказались верить. Или, пожалуй, Салли могла бы поступить, как в свое время миссис Пирс у нас в городе. На станционной платформе она отхлестала портниху кнутом, а потом со

слезами бросилась в объятия к майору Пирсу, так что в Атлантик-Сити он поехал с ней. Потом они перебрались в Де-Мойн — помню, в колледже прочел об их золотой свадьбе. Но теперь на это никто не способен, к тому же Лайза — не портниха.

И вот однажды я пришел домой, Салли встретила меня совершенно спокойно, и мы проговорили чуть ли не до утра. Мы уже довольно давно были до крайности вежливы друг с другом... Ну, ты себе представляешь. И вежливость нам не изменила, мы держали себя в руках. В конце концов мы еще до свадьбы пообещали друг другу, что если один из нас когда-нибудь...— и «когда-нибудь» наступило. И разговор завела Салли, а не я. Наверно, было бы легче, если бы мы подрались. Но мы не подрались.

Конечно, она кое-что сказала о Лайзе — не без того,— и я кое-что сказал в ответ. Но это продолжалось недолго, мы взяли себя в руки. Странное ощущение — чужие, вежливый разговор,— но мы собой владели. Мне кажется, испытывали даже некую гордость оттого, что владеем собой. Оттого, что под конец она вежливо попросила налить ей, словно была в чужом доме, и я ей налил как гостье.

К тому времени мы уже все обсудили, и дом казался сухим и пустым, будто в нем вообще никто не жил. Мы никогда так поздно не засиживались — только в Новый год да один раз, когда Бадди заболел. Я налил ей очень аккуратно, с простой водой, как она любила, а она взяла стакан и сказала: «Спасибо». Потом довольно долго молчала. Тишина стояла такая, что слышно было, как капает с вентиля в кладовой — несмотря на закрытую дверь. Она услышала и сказала: «Опять капает. Ты бы позвонил завтра мистеру Ваю, я забыла. И кажется, Барбара простудилась — хотела тебе сказать». Потом лицо у нее исказилось, и я подумал, что она заплачет; но она не заплакала.

Она поставила стакан — выпила только половину — и сказала совсем спокойно: «Ох, черт бы вас взял — и тебя,

и Лайзу, и все на свете». И убежала наверх, я не успел ее остановить.

Я мог бы побежать за ней, но не побежал. Я стоял, смотрел на недопитый стакан и ни о чем не мог думать. Немного погодя услышал, что в замке повернулся ключ. Тогда я взял шляпу и вышел пройтись; я давно не выходил на прогулку в такую рань. Потом я набрел на ночной ресторанчик и выпил кофе. Вернулся домой и, пока не спустилась прислуга, читал — книга была не очень интересная. Когда прислуга спустилась, я сделал вид, что встал пораньше и хочу успеть в город с первым поездом, но она, наверно, поняла.

Не буду рассказывать подробности. Если ты это пережил, ты это пережил, если нет, не поймешь. Мои родители любили Салли, я всегда нравился ее родителям. Из-за этого было еще тяжелее. И дети. Они говорят не то, чего от них ожидаешь. Не буду об этом рассказывать.

Да, мы все разыграли красиво, мы не ударили в грязь лицом. Кулаками никто не махал, упреками не сыпал. Все говорили, как достойно мы себя ведем,— весь город. Лайза и Салли встречались, мы с Джимом Блейком беседовали совершенно спокойно. Говорили все что полагается. Он разговаривал так, словно у него это было очередное судебное дело. Он вызывал у меня глубокое уважение. Лайза очень постаралась разогреть страсти, но мы ей не позволили. И в конце концов я смог ее убедить, что суд судом, а Сильвия все же останется с ним. Он души в ней не чаял, и, хотя Лайза очень хорошая мать, не могло быть и разговора о том, кого ребенок любит больше. Бывает иногда и так.

Кстати, я посадил Салли на поезд в Рино*. Она так захотела. Лайза собиралась развестись в Мексике — помнишь, это только-только входило в моду. А по тому, как мы

* Рино — самый большой город в штате Невада, где законы, касающиеся развода, наиболее либеральны.

разговаривали на станции, никто бы ни о чем не догадался. Удивительная связь образуется в такое время. Когда я ее проводил — она казалась маленькой в поезде,— первым, кого мне захотелось увидеть, была не Лайза, а Джим Блейк. Видишь ли, знакомые — это, конечно, прекрасно, но если ты сам такого не пережил, тебе понять трудно. Но Джим Блейк еще был в Медоуфилде, и я отправился в клуб.

По-настоящему я в клубе никогда не жил, однажды летом три дня. Там все очень любезно, но клуб все-таки университетский — скорее для молодежи да для тех из старой братии, которые торчат в баре. Мне страшно надоел летний ситец в столовой и официант-грек, дышавший мне в затылок. А работать все время невозможно, хотя в конторе я сидел допоздна. Вот тут, наверно, у меня и родилась мысль, что можно уйти из «Спенсера Уайлда», поискать чего-нибудь другого. В такое время о многом начинаешь думать.

Конечно, я мог бы повидаться со знакомыми, но не особенно хотелось — почему-то не хочется. Впрочем, с одним из старой братии я прямо подружился. Ему было пятьдесят пять лет, он четыре раза разводился и жил в клубе постоянно. Мы сидели в его комнате — мебель он привез свою, а стены были увешаны фотографиями,— пили джин с лимонным соком и разговаривали о жизни. У него была масса мыслей о жизни — и о браке тоже,— и слушать его было вполне интересно. Но потом он начинал описывать, какие обеды закатывал у Дельмонико, это тоже, конечно, интересно, но помогает мало — разве что отвлекает от летнего ситца.

Он занимал какую-то маленькую должность, но, видимо, получал еще доход от наследных денег. Скорее всего так. И когда я его спрашивал, чем он занимается, он отвечал: «Я удалился на покой, весьма удалился, мой мальчик,— а не принять ли нам еще напитка по случаю жары?» Всегда называл свой коктейль «напитком», но в баре

знали, что он имеет в виду. Он пришел к нам с Лайзой на свадьбу в визитке и пожелал произнести маленькую речь — получилось очень мило. Потом, когда мы вернулись, раза два-три приглашали его на обед, а потом я как-то перестал с ним видеться. Думаю, что он все еще в клубе, я бросил туда ходить — вступил в другие,— хотя членом остался.

Конечно, все это время я с ума сходил по Лайзе, писал ей письма и не мог дождаться, когда мы поженимся. Конечно, все так. Но время от времени даже это оттеснялось на задний план. Столько было дел, столько надо было улаживать, встречаться с людьми наподобие адвокатов. Адвокатов я до сих пор не люблю, хотя у нас были очень хорошие. Но все эти звонки, переговоры... Чем-то это напоминает машину — большую машину, и во всем, что ты делаешь, надо учиться какому-то новому этикету. И наконец доходишь до того, что остается одно желание: только бы кончилась канитель и больше не надо было об этом говорить.

Помню, за три дня до того, как Салли получила развод, столкнулся в клубе с Чиком Бьюлеем. Тебе бы Чик понравился — он интеллектуал, но при этом ужасно славный малый. И Нэн, жена его,— прелесть, знаешь, из породы таких крупных поджарых и прорва юмора. Поговорили с ним очень мило: он вел себя естественно, не острил насчет соломенных холостяков, но и глаз специальных не делал. Знаешь, какие они делают глаза. Поговорили о Медоуфилде — ну, обычные новости: Бейкеры расходятся, Дон Сайкс устроился на новое место, у Вилсонов родился ребенок. Но слушать это было почему-то приятно.

— Между прочим,— сказал он, попыхивая трубкой,— мы тоже ожидаем прибавления. Осенью. Как мы управимся с четырьмя? Я говорю Нэн, что она опупела, а она отвечает, что это интересней, чем плавательный бассейн, и содержать дешевле — ну что ты будешь делать!

Он покачал головой, а я вспомнил, что Салли всегда го-

ворила, что хочет шестерых. Но теперь у меня будет Лайза — и думать об этом не надо.

— Так вот твой секрет счастливого брака? — сказал я.— А я все не мог разгадать.

Я, понятно, шутил, но он глядел серьезно.

— Kinder, Küche und Kirche*? — сказал он.— Нет, это уже не действует, при наших дошкольных учреждениях, автоматах и кино. Хоть четверо детей, хоть сколько, если Нэн захочет устроить скандал, она его устроит. Да и я, правду сказать. Добавь блага цивилизации,— глаза у него сделались озорными.

— Ну так в чем же все-таки? — Мне в самом деле хотелось узнать.

Он поглядел в сторону.

— Да, в прежнее время было гораздо проще,— сказал он.— Все было за брак — церковь, законы, общество. И когда люди женились, они намеревались остаться женатыми. И многие были чертовски несчастны. Теперь намерения большей частью обратные — по крайней мере, в нашей большой прекрасной стране и среди такой публики, как мы. Получить развод — все равно что сходить к зубному врачу — иногда неприятно, но до тебя тут многие побывали. Система симпатичная, хотя тоже не обходится без жертв. Вольному воля, спасенному рай. Одни из нас свободу любят больше, чем институт брака, другие больше любят институт, но на самом деле почти каждый из нас хотел бы быть Дон Жуаном по четвергам и Бенедиктом женатым по пятницам, субботам и остальным дням. Только это почему-то трудновато устроить,— и он ухмыльнулся.

— Но все-таки,— не отставал я,— ты с Нэн...

— Ну что... мы, наверно, исключение. Видишь ли, мои родители поженились, когда мне стукнуло семь. Так что я консерватор. Вообще-то могло получиться и наоборот.

— Да? — сказал я.

* Дети, кухня и церковь *(нем.)*.

— Да. Мать была англичанка, а про английские законы о разводе ты, возможно, слышал. Она сбежала с моим отцом и очень правильно сделала — муж ее был редкостным животным. Да, там хорошо, где нас нет, но я как раз там и рос и кое-что про это знаю. А Нэн была дочь священника и считала, что должна быть свободной. Ну, и мы довольно много спорили. В конце концов я ей сказал, что почту за счастье жить с ней на любых условиях, но если она хочет замуж, то пусть знает, что ей предстоит замужество, а не прогулка по Кони-Айленду. И предельно разъяснил свою мысль, поставив ей синяк под глазом — в такси, когда она сказала, что всерьез намеревается провести неделю с моим завзятым соперником — выяснить таким путем, кого из нас она действительно любит. С синяком под глазом в романтическую поездку не отправишься. Но замуж с ним выйти можно, и мы поженились. Прикладывать к нему сырое мясо она перестала всего за два часа до церемонии — и более приятного зрелища я не видел. Вот и вся наша нехитрая история.

— Не вся,— сказал я.

— Да,— согласился он,— не вся. Но по крайней мере мы не начинали со всякой чепухи насчет того, что если встретишь кого-то поинтересней, то все отменяется. Мы понимали, что делаем серьезный шаг. Популярное брачное наставление Бьюлея в трех частях, слушай Опытного Человека — кому это надо? Конечно, если бы мы не... кхм, нравились друг другу, я мог бы наставлять ей фонари до скончания века и добился бы разве того, что попал на скамью подсудимых за рукоприкладство. Но то, за что не стоит драться, немногого стоит. Да и она не похожа на забитую жену.

— Не похожа,— сказал я.— И все-таки...

Он посмотрел на меня очень строго, почти так же, как смотрел на людей, объяснявших, что курсы акций останутся на нынешнем высоком уровне.

— Совершенно верно,— сказал он.— Каковы бы ни бы-

ли твои намерения, в один прекрасный день возникает новое лицо, и пробегает искра. Я не Адонис, видит бог, но раз или два и со мной такое случалось. И я знаю, что я делаю в таком случае. Я бегу. Бегу, как заяц. Это не мужественно, не смело, не красиво. И даже не слишком нравственно — в моем понимании нравственности. Но я бегу. Потому что, как ни верти, для романа нужны двое, а если одного нет, какой же роман? И Нэн, черт возьми, это знает — вот в чем беда. Она пригласит на обед Елену Прекрасную — только чтобы поглядеть, как я бегу. Ну, будь здоров, и, конечно, привет от нас Лайзе...

Он ушел, а я остался и пообедал в гриле. Я много думал за обедом, но ни до чего не додумался. Вернувшись к себе в комнату, взял трубку. Хотел заказать междугородный. Но голос в телефоне звучит иначе, да и постановление о разводе должны были выдать всего через три дня. И когда телефонистка ответила, я сказал ей, что это ошибка.

На следующей неделе вернулась Лайза и мы поженились. В свадебное путешествие отправились на Бермуды. Это очень красивое место. А ты знаешь, что на остров автомобили вообще не допускают?

Странно, но первое время я совсем не ощущал, что женат на Лайзе. Она говорила: «Ну до чего увлекательно, милый!» — так оно, наверно, и было.

Но теперь мы женаты уже восемь лет, и это совсем другое дело. В мае близнецам исполнится семь, а у Салли сын на два года младше — Джерри. Сперва у меня была мыслишка, что Салли может выйти за Джима Блейка — он всегда ею восхищался. Но, слава богу, этого не произошло — жизнь наша стала бы чересчур сложновата. А Макконеги мне нравится — безусловно нравится. Мы подарили им на свадьбу китайский кувшин. Лайза выбирала. У нее отменный вкус, и Салли прислала нам милое письмо.

Я бы хотел познакомить тебя с Лайзой — ее тянет к интеллигентным людям. Они постоянно у нас бывают —

художники, писатели и так далее.

Конечно, они не всегда оказываются такими, как она ожидала. Но она умелая хозяйка и всегда найдет выход. Был тут один молодой человек, который мне порядком досаждал. Он звал меня господином с Уолл-стрита и узнавал мое мнение о Пикабиа или еще ком-нибудь из этой компании, причем с таким видом, словно говорил: «Смотрите, как будет путаться». Но Лайза, как только это заметила, сразу от него отделалась. Видишь, она ко мне внимательна.

Конечно, быть женатым на женщине — совсем другое дело. Я теперь изрядно занят, и она тоже. Бывает, когда прихожу домой, а у нас собирается вечеринка, я только говорю «спокойной ночи» близнецам и сразу после обеда испаряюсь. Лайза это понимает, и у меня есть отдельные покои. Один из ее знакомых художников по интерьеру отделал кабинет, получилось, по-моему, мило.

Как-то вечером я принимал там Джима Блейка. Ну, надо было его куда-то увести. Он расшумелся, и Лайза украдкой показала мне наверх. Дела у него идут прекрасно, но вид довольно мрачный, и боюсь, что он крепко пьет, хотя чаще всего по нему это не заметно. Думаю, он так и не оправился после смерти Сильвии. Четыре года уже прошло. В школе была скарлатина. Для Лайзы это, конечно, тоже было большим горем, но у нее есть близнецы, а Джим так и не женился. Время от времени он к нам заходит. Однажды, придя на взводе, сказал, что посещает нас для того, чтобы утвердиться в своем холостячестве, но не думаю, что это правда.

И вот когда я привел его в кабинет, он огляделся и сказал:

— Боже мой! Какой из Лайзиных любимчиков соорудил эту имитацию уэллсовского кошмара?

— Ой, не помню,— сказал я.— По-моему, его фамилия Сливовиц.

— Такое убранство мог придумать только человек с фа-

милией Сливовиц. Зубопротезная сталь и черное стекло. Узнаю вкус Лайзы. Скажите спасибо, что вам не повесили панно из шестерен.

— Такой проект обсуждался,— ответил я.

— Не сомневаюсь,— сказал он.— Ваше здоровье, дружище! За два великих института — за брак и развод!

Мне его тост не очень понравился, и я ему это сказал. Но он только покачал головой.

— Вы мне нравитесь, Пейнтер. И всегда нравились. Иногда вы мне кажетесь туповатым, но все равно нравитесь. Вы не можете меня оскорбить — я вам не позволю. И вы в этом не виноваты.

— В чем не виноват?

— В этом раскладе,— сказал он.— Потому что в глубине своей простенькой, опрятненькой души вы, Пейнтер, добропорядочный супруг... как и большинство народу. И останься вы при Салли, вы вели бы добропорядочную супружескую жизнь. Но вам передернули — у нас в Медоуфилде,— и чем вы теперь кончите, один бог знает. Как-никак я сам шесть лет прожил с Лайзой. Скажите, разве это не ад?

— Вы пьяны,— сказал я.

— In vino veritas*. Нет, не ад — беру свои слова назад. В Лайзе есть оголтелость, но она незаурядная и привлекательная женщина — вернее, могла бы быть такой, если бы старалась. Но она воспитана на идее Романа с большой буквы и по натуре слишком ленива и слишком эгоистична, чтобы долго стараться. Всегда есть что-то новое, там, за горизонтом. Ну, и в конце концов я устал с этим бороться. И вы устанете. Ей не нужны мужья, ей нужны подопечные и последователи. А может быть, и вы уже устали.

— Пожалуй, вам лучше уйти домой. Я не хотел бы вас просить об этом.

* Истина в вине *(лат.)*.

— Виноват,— сказал он.— In vino veritas. Но расклад смешной, правда? Лайза искала романтического приключения, а приобрела близнецов. Вы хотели жениться — приобрели Лайзу. Что же до меня,— тут выражение лица у него стало совсем не пьяным,— больше всего мне нужна была Сильвия, и я ее потерял. Я мог бы снова жениться, но думал, что ей тогда будет хуже. А теперь, возможно, женюсь на какой-нибудь из клиенток, которым помогал с разводом... как правило, мы разводов не берем, только в самых особых случаях, с самыми почтенными клиентами. И как нам всем будет смешно! Какой расклад! — Он сполз в кресле и уснул. Я дал ему поспать, а потом велел Бриггсу спустить его на дальнем лифте. На другой день он позвонил и извинился — кажется, он вел себя шумно, но совсем не помнит, что говорил.

И еще гость побывал у меня в кабинете: два года назад я привел домой Салли. Мы встретились, чтобы обсудить, в какой колледж пойдет Барбара, я хотел показать Салли кое-какие бумаги, но забыл их у себя. Обычно мы встречались в городе. Но она согласилась пойти домой — Лайзы как раз не было. Я вез ее на лифте и открывал ей дверь со странным ощущением. Она вела себя не так, как Джим,— кабинет ей показался милым.

Мы говорили о деле, и я все время смотрел на нее. Заметно, что постарела, но глаза по-прежнему ярко-голубые, и, увлекшись чем-то, она прикусывает большой палец. Странное ощущение. Нет, видеться-то мы, конечно, виделись, но происходило это обычно в городе. Знаешь, я бы ни капли не удивился, если бы она дернула звонок и сказала: «Чаю, Бриггс. Я дома». Понятно, Бриггса она не вызвала.

Я спросил, не хочет ли она снять шляпу,— она забавно посмотрела на меня и ответила: «И ты мне покажешь свои гравюры? Дэн, Дэн, с тобой надо держать ухо востро», и с минуту мы хохотали как дураки.

— О господи,— сказала она, вытирая глаза.— До чего

смешно. Но мне пора домой.

— Слушай, Салли,— сказал я.— Я всегда тебе говорил... честное слово, если тебе что-то понадобится... если что-нибудь для тебя я...

— Конечно, Дэн,— сказала она.— И мы с тобой ужасные друзья, правда? — Но она еще улыбалась.

Я не желал слушать.

— Друзья! — я сказал.— Ты знаешь, как я к тебе отношусь. И всегда относился. И ты, пожалуйста, не думай...

Она потрепала меня по плечу... я забыл этот жест.

— Ну, ну,— сказала она.— Мамочка все знает. И мы в самом деле друзья, Дэн. Так что...

— Я был дураком.

Синие глаза ее посмотрели на меня твердо.

— Мы все были дураками,— сказала она.— Даже Лайза. Первое время я ее ненавидела. Я желала ей плохого. Ну, не самого плохого. Пусть узнает, что ты не можешь пройти мимо криво повешенной картины и не поправить ее, пусть услышит от тебя в сотый раз: «На одной ноге далеко не ускачешь». Такие мелочи, которые узнаешь со временем и должна с ними мириться. Но теперь и это прошло.

— Если бы ты приучилась затыкать бутылку пробкой,— сказал я.— То есть не чужой, а ее пробкой. Но...

— Я затыкаю! Нет, кажется, никогда не приучусь! — И она засмеялась. Потом взяла меня за руки.— Странно, странно, странно. И странно, что все прошло, что мы друзья.

— Все прошло?

— Ну, конечно, не все,— сказала она.— Все, наверно, никогда не пройдет. Как мальчики, которые водили тебя на танцы. И есть дети, и не можешь не вспоминать. Но — прошло. Было, и мы потеряли. Я должна была сильнее драться — не дралась. А потом, мне было ужасно обидно, и я ужасно злилась. Но с этим я справилась. И теперь мой муж — Джерри. И не отдам его и Джерри-младшего

ни за что на свете. Единственное, что меня иногда огорчает,— ему досталось меньше, чем он заслуживал. Все-таки он мог жениться... на ком-нибудь другом. Но он знает, что я его люблю.

— Еще бы,— сказал я довольно натянуто.— По-моему, ему неслыханно повезло.

— Нет, Дэн. Это мне повезло. Надеюсь, что сейчас, пока мы говорим, рентгеновский снимок миссис Поттер окажется хорошим. Джерри замечательно над ней потрудился. Но всегда волнуется.

— Передай ему привет,— сказал я.

— Передам. Знаешь, Дэн, он хорошо к тебе относится. Очень хорошо. Кстати, как твой бурсит? Придумали новое лечение — он велел спросить тебя...

— Спасибо,— сказал я.— Все рассосалось.

— Слава богу. Но пора бежать. Когда приезжаешь из пригорода, непременно надо за покупками. Передай Лайзе привет, жаль, что я ее не застала. Ее ведь нет?

— Нет. Она огорчится, что разминулась с тобой... не останешься до коктейля? Она обычно возвращается к этому времени.

— Очень заманчиво, но не могу. Джерри-младший потерял одну черепаху, надо купить ему взамен. Не знаешь, где тут хороший зоомагазин? Хотя могу у Блумингдейла — мне все равно за покупками.

— Хороший есть на Лексингтон авеню, пройти два квартала. Но раз ты собралась к Блумингдейлу... Что ж, до свидания, Салли. Счастливо.

— Счастливо, Дэн, до свиданья. И не будем огорчаться.

— Не будем.— Мы пожали друг другу руки.

Провожать ее на улицу не имело смысла, кроме того, мне надо было позвонить в контору. Но прежде чем позвонить, я выглянул в окно — Салли как раз садилась в такси. Когда человек не знает, что ты на него смотришь, он выглядит как-то по-другому. Я представлял себе, какой ее видят остальные: уже не молодая, не та Салли, на ко-

торой я женился, и даже не та, с которой мы беседовали всю ночь в остывшем доме. Милая замужняя женщина, которая живет в Монтклере, жена врача; милая женщина приехала за покупками в новой весенней шляпке, с проездным билетом в сумочке. У нее была беда в жизни, но она справилась. И перед тем как уехать на поезде, она сядет на станции на высокий табурет и выпьет содовой с мороженым и шоколадом — а может быть, теперь она туда не заходит. В сумочке у нее полно вещиц, но я не знаю, каких именно, и от каких замков у нее ключи. А если она будет умирать, меня вызовут, потому что таков этикет. То же самое, если умирать буду я. У нас что-то было, и мы потеряли, как она выразилась,— и осталось только это.

Теперь она — просто милая миссис Макконеги. Но только не для меня. И все же к прошлому вернуться нельзя. Даже в Медоуфилд нельзя вернуться — наш дом снесли, а построили многоквартирный.

Вот почему мне хотелось с тобой поговорить. Я не жалуюсь, и я не из тех, у кого шалят нервы. Я просто хочу понять... хочу разобраться. И порой это вертится, вертится в голове. Ведь хочется что-то сказать детям, особенно когда они подрастают. Да, я знаю, что мы им скажем. Но достаточно ли этого?

Когда у нас гостят Бад и Барбара, живем мы, в общем, дружно. Особенно с Барбарой — она очень тактичная и обожает близнецов. Теперь они подросли, и стало как-то легче. И все же время от времени происходит что-то такое, отчего задумываешься. Прошлым летом я взял Барбару с собой на яхте. Ей шестнадцать, и она очень славная девочка — не потому, что она моя дочь. В этом возрасте дети часто бывают колючими, а она — нет.

Ну, мы разговаривали, и, естественно, хочется знать, какие у твоего ребенка планы. Бад решил, что станет врачом, как Макконеги, и я не имею ничего против. Я спросил у Барбары, собирается ли она приобрести профессию, а она сказала, что, пожалуй, нет.

— В колледж-то я пойду,— сказала она,— и, может быть, несколько лет поработаю, ну, как мама в свое время. Но никаких особых талантов у меня нет. Я могла бы себя обманывать, папа, но не хочу. Мое дело, наверно, быть женщиной — дом, дети.

— Ну что ж, по-моему, правильно,— сказал я с весьма отеческим чувством.

— Да,— ответила она.— Я люблю детей. Знаешь, я, наверно, выйду замуж пораньше — для опыта. С первого раза может не получиться, но кое-чему научишься. А со временем найдешь того, с кем можно связать жизнь.

— Так вот как теперь у современных молодых женщин? — сказал я.

— Ну конечно. Почти все девочки так считают — мы обсуждали в школе. Конечно, иногда это получается совсем не скоро. Как у мамы Элен Гастингс. В прошлом году она вышла замуж в четвертый раз — но какой же он симпатичный! Когда я была у Элен в гостях, он всех нас повел на утренник — мы просто помирали. Он, конечно, граф, и у него потрясающий акцент. Не знаю, хотела ли бы я за графа — но забавно, наверно, когда у тебя на носовых платках маленькие короны, как у мамы Элен. Что с тобой, папа? Ты шокирован?

— Не льстите себе, мадемуазель. Меня пытались шокировать профессионалы,— сказал я.— Нет, я просто задумался. Что, если бы... если бы мы с твоей мамой не разошлись? Как бы тогда ты на это смотрела?

— Но вы ведь разошлись, правда? — сказала она без всякой обиды, совершенно спокойно.— Понимаешь, теперь почти все расходятся. Не волнуйся, папа. Мы с Бадом все понимаем — боже мой, мы уже большие! Конечно, если бы вы жили с мамой,— с готовностью согласилась она,— я думаю, это было бы очень мило. Но тогда у нас не было бы Мака, он знаешь какой симпатичный? — а у тебя не было бы Лайзы и близнецов. И потом, ведь все у нас устроилось? Нет, конечно, я совсем не против, чтобы полу-

чилось с первого раза, если будет не очень нудно и мрачно. Но надо смотреть на жизнь трезво, ты же понимаешь?

— Смотреть трезво! — сказал я.— Черт возьми, Барбара!

И запнулся — что тут надо говорить?

Такая вот получается история, и если у тебя есть готовая шпаргалка — подкинь мне. Так мало людей, с которыми можно поговорить,— вот в чем беда. Нет, все очень милы, но это не совсем то, что надо. А если чересчур задумываешься, начинаешь ударять по коктейлям. И это слишком большая роскошь — пьяницей я никогда не был.

Единственный вопрос — когда это может кончиться и кончится ли? Вот единственное, что меня пугает.

Тебе это может показаться глупостью. Но я видел других людей... возьми ту же миссис Гастингс из рассказа Барбары. Или моего пожилого приятеля в клубе. Неужели он начал с того, что хотел четыре раза жениться? Про себя я знаю, что не хотел,— я не из той породы, ты ведь знаешь.

И все-таки, допустим, ты встретил кого-то, кто относится к тебе как к человеку. И не считает, допустим, что ты туповат, если про «Американ Кэн Ко» знаешь больше, чем о том, кто что нарисовал. И допустим даже, этот кто-то намного младше тебя. В конце концов не это главное. Я ведь не донжуан. О разводе или о чем-нибудь подобном мы с Лайзой не думаем. Естественно, каждый живет своей жизнью — но с кем-то ведь надо поговорить? Конечно, таким человеком могла быть Салли. Моя вина. Но и Морин, понимаешь, это не просто что-то там из кордебалета. У нее свой, сольный номер. И когда узнаешь ее поближе, она в самом деле очень умненькая девочка.

Цветение и плоды

В разгаре весны, когда яблони оделись во все белое, они часто бродили берегом реки, разговаривали, и не разобрать было, они ли это говорят, или поют птицы, или струится вода. Их любовь началась ранней зимой; оба переживали первую пору своей юности. Окружающие предрекали им разное — подсмеивались, судачили, умилялись — кто как умел, но ни одно из пророчеств не сбылось. А эти двое даже не догадывались, что за ними следят, да если бы и услышали чьи-то предсказания, вряд ли поняли бы, о чем идет речь.

Стена из стекла — она отделяла их от мира, от времени, они не ведали ни старости, ни молодости. Непогода проносилась над ними, как над полем или ручьем,— они не обращали на нее внимания. Любовь, жизнь, биение сердца — порознь или вместе — можно ли представить себе мир иным? Так было, так будет, так есть. В мечтах и наяву он видел очертания ее лица; оставшись одна, она закрывала глаза и чувствовала у себя на плечах его руки. Так все и шло, так они беседовали, так бродили по реке. Потом раз или два пытались вспомнить, о чем говорили — о чепухе какой-нибудь? — но слова были уже позади. Они слышали, как течет река. Он помнил лишь спутавшиеся волосы, она — расстегнутый ворот голубой рубашки и горячее лицо. Прошло время, и эти двое все реже возникали в памяти.

С тех пор много воды утекло. И вот, когда старик вернулся наконец туда, где началась его жизнь, он стал часто

ходить за заливной луг к реке. Иногда внук или слуга выносили ему легкий складной стул и старый коричневый дорожный плед, но чаще он ходил один. Он был еще в силе и не любил опеки; его убеждали, что гулять по мокрой траве — верная смерть. Напрасно, он только больше упрямился.

Наконец он добирался до цели — древней яблони с отягощенными ветвями, ставил под ней стул, садился, заворачивал в плед ноги и так сидел, пока его не звали в дом. Он был один, но не одинок; если кто-то проходил мимо, он мог поговорить, если никто не проходил, он с удовольствием молчал. Почти всегда у него на коленях лежала книга, но читал он редко — его собственная жизнь была лучшей книгой, и совсем не надоедало ее перечитывать. Ничего уже не добавить, думал он, почти ничего; но это его не огорчало. Текст написан, длинный текст, и многое, что в жизни казалось несущественным, туманным, теперь, когда он вспоминал, вдруг обретало ясность, значимость.

Да, думал он, вот так большинство людей и проживают жизнь — проносятся по поверхности, скорее бы добраться до конца и узнать, кто женился, а кто разбогател. Что ж, с этим ничего не поделаешь. Но когда ты уже знаешь конец, можно обернуться и попытаться разглядеть саму историю. Только большинство не хотят, подумал он и улыбнулся. Им кажется странным читать свою книгу с конца. А для меня это великое счастье. Он погрузился в себя, блаженно расслабил руки на коленях, и картины поплыли перед глазами.

Вот юноша с девушкой у реки. Теперь он мог смотреть на них отстраненно, без тоски и сожаления — призраки прошлого уже не раздирали плоть, хотя и были частью его плоти и с нею обречены умереть. И все же на миг им почти овладело прежнее настроение, нахлынул прежний восторг. Что же у них была за любовь? — кто знает — он любил. Но что такое любовь?

Они встречались тайком — теперь уже неважно почему — целое лето, длинное засушливое лето в маленьком городе, который позже превратился в большой. Под солнцем пеклись мостовые, носилась белая пыль, но в доме дышалось легко и приятно.

Она была вдова, темноволосая, несколькими годами старше его, а он был молод, носил высокие воротнички; жизнь еще не прописала его лицо, не положила морщин, но телу уже придала некоторую завершенность. Ее звали Стелла. Она напевала изредка, от ее голоса веяло прохладой; вместе, они не могли наговориться, строили всякие планы — так и не сбывшиеся; оба были страстно влюблены.

Ему вспомнился один вечер в конце лета. Они сидели в обыкновенной комнате. Он подтрунивал над ней из-за того, что на столе стояла ваза с зимними яблоками, а она отвечала, что любит все недозрелое. Потом они еще немного поговорили, и она умолкла, смотрела на него, ее лицо светилось в темноте.

Осенью он вынужден был покинуть город, а вернувшись через год, обнаружил, что она переехала в другой штат. Позднее он узнал ее новую фамилию — вышла замуж. А потом еще через много лет прочел о ее смерти.

Плед соскользнул с коленей старика, он поднял его, подоткнул под себя. Нет, он никак не мог вернуться в человека, любившего Стеллу, любимого ею, но и расстаться с ним тоже не мог. Он видел юношу и молодого человека, бредущих по реке. Каждый шел с женщиной, каждый враждебно глядел на другого и, указывая на свою спутницу, твердил: «Вот она, любовь». Старик с сомнением улыбнулся — оба хмурились, оба были так уверены в себе, а ведь он вмещал их обоих. Кто же прав? Кто ошибается? Он призадумался, но ни к чему не пришел. Если оба ошибаются или оба правы, что же тогда любовь?

Непременно наткнешься на что-нибудь странное, читая свою книгу с конца, подумал он. Ну ладно, на сегодня хватит. Так он решил, и все же возникла новая картина.

Они женаты немногим более двух лет, их первенцу восемь месяцев. Ему за тридцать, он преуспевает, уже один из видных людей растущего города. Она пятью годами моложе, румяна, для женщины немного высока. До женитьбы они знали друг друга мало и не были сильно влюблены, но, пожив вместе, переменились.

Вот он вернулся домой на Пайн-стрит, рассказал, что произошло за день, выслушал новости о соседях, о делах по хозяйству, о ребенке. После ужина они сели в гостиной, он курил, читал газету, она вязала. Порой они перебрасывались словами, их взгляды встречались, и в этот миг что-то возникало и что-то исчезало. В десять она поднялась наверх покормить ребенка, немного погодя пришел он. Девочка была уже в кроватке, несколько мгновений оба смотрели на дочь — словно ощутимая тяжесть на ее веках лежал сон — как глубоко, как быстро она проваливалась в сон! Они вышли из комнаты, тихонько прикрыли дверь, постояли в передней и обнялись. Потом жена высвободилась из его объятий.

— Пойду спать, Уил. Будешь ложиться, выключи свет.

— Я скоро,— ответил он.— Сегодня был длинный день.

Он сладко потянулся, не отрывая от нее взгляд. Она затаенно улыбнулась и пошла прочь. Вскоре за ней затворилась дверь спальни.

Выключив свет и заперев двери, он поднялся на длинный чердак, тянувшийся над всем домом. Дом купили лишь два года назад, но чердак уже успел собрать изрядную коллекцию хлама; там валялась всякая поломанная или просто ненужная всячина, вряд ли кто еще воспользуется ею, однако пролежит она здесь до нового переезда, до чьей-нибудь смерти. Он же пришел посмотреть на яблоки, зреющие в пыльной темноте на длинной полке. Их прислали с фермы. Уже в дверях ощущался их нежный, ни с чем не сравнимый аромат. Он взял одно яблоко, покрутил его в руке, попробовал на вес, на ощупь — твердое, гладкое, прохладное. Не найти яблока вкуснее, и здесь для

них самое место.

Перед ним возникло лицо Мэри — ее взгляд в передней; мысль о ней была как нож, полоснувший глубоко, но не больно. Да, подумал он, я действительно живу — мы очень привязаны друг к другу. Что-то заставило его положить яблоко и открыть небольшое застекленное окно в крыше — в лицо задул чистый холодный ветер. То была осень. Он почувствовал ее кровью. Так он стоял, вбирал в себя холодную осень, думал о жене. Потом захлопнул окно и спустился в спальню.

Третья пара присоединилась к остальным под яблоней, третий образ заявил о себе — каждой четкой линией тела, и обладал он не только женщиной, но и особым, ни с чем не сравнимым знанием. Старик разглядывал их всех без зависти, но с любопытством. Вот если бы они могли поговорить между собой, тогда что-нибудь прояснилось бы. Но они молчали — таково было условие. Каждый лишь твердил: «Вот она, любовь».

Фигуры исчезли, старик очнулся. В старости спишь чутко, но часто, и во сне приходят видения. Мэри нет в живых уже десять лет, их дети стали взрослыми. Он всегда думал, что Мэри переживет его, но вот ведь как вышло. А с ней было бы так хорошо. Он горевал, и все же, когда он думал о ней мертвой, горе маячило вдалеке. Она была ближе, чем горе. Однако странно было бы вновь ее повстречать.

На ветке распускается цветок, потом наливается и зреет плод, падает на землю или срывают его, и все повторяется сначала. Но сколько ни следи за расцветом, за увяданием, тайна не раскроется. А как ему хотелось разгадать ее!

Он посмотрел в сторону дома — к нему кто-то шел. Он все еще лучше видел вдаль, чем вблизи, и легко распознал приближающуюся фигуру. Это была девушка, которая не так давно вышла замуж за Роберта, его внучатого племянника. Как и все остальные, она звала его «папа

Хэнкок» и «дедушка», и все же она отличалась от них. Память не сразу подсказала ее имя. Потом он вспомнил. Дженни. Воспитанная темноволосая девушка с раскованной походкой — вообще нынешние девушки держатся гораздо свободнее, чем в его время. А что до обстриженных волос и всего прочего — почему бы и нет? Такие пустяки могут раздувать лишь газеты. Нужно же им что-то раздувать. Он усмехнулся про себя — интересно, как в газете посмотрят на почтенного старожила города, если он пришлет письмо и спросит, что такое любовь? «Старый дурак, в богадельню его». Что ж, возможно, они и правы.

Девушка все шла — он смотрел на нее, как смотрел бы на бегущего по траве кролика, на гонимое ветром облако. В ее походке было что-то от кролика и от облака — что-то легкое, свободное, неразрывное. Но было в ее походке и нечто иное.

— Ленч, папа Хэнкок,— крикнула она еще издалека.— Фасоль в стручках и вишневый пирог.

— Вот и хорошо, я как раз проголодался,— ответил старик.— Ты же знаешь меня, Дженни, плохим аппетитом я никогда не страдал. Но ты можешь съесть мою порцию пирога — зубки у тебя молодые.

— Перестань разыгрывать из себя столетнего старца, папа Хэнкок. Я видела, как ты расправлялся с пирогами тети Марии.

— Ладно, отщипну немного на пробу, раз уж на то пошло,— задумчиво произнес старик,— но ты можешь брать все, что я не доем, Дженни, и это будет справедливо.

— Куда уж как справедливо,— ответила девушка.— Так недолго и без куска хлеба остаться.— Она подняла руки к небу.— Ух, как я голодна!

— Неудивительно,— спокойно сказал старик.— И за обедом тоже не скромничай. Ешь как следует, тебе нужно набираться сил.

— Что, вот так посмотришь на меня и скажешь, что мне нужно набираться сил? — спросила она со смехом.

— Нет, пока еще не заметно,— ответил старик, освобождаясь от пледа. Она протянула ему руку, но он встал сам.— Спасибо, милая. Вот не гадал увидеть своего правнука,— сказал он.— Но ты об этом не думай. Мальчик ли, девочка — главное, это будет твой ребенок.

Девушка смущенно коснулась рукой шеи и покраснела. Потом рассмеялась.

— Да ты, оказывается, вещун, папа Хэнкок,— сказала она.— Роберт-то еще ничего не знает...

— Где ему,— быстро ответил старик.— В этом возрасте люди неопытны. Но меня, малышка, не проведешь. Я многое повидал на своем веку и многих повидал.

Она посмотрела на него с тревогой.

— Раз уж ты знаешь... Но ты ведь не проговоришься... Конечно, я скоро сама скажу Роберту, но...

— Понятно,— ответил старик,— начнутся поучения. Сам я не большой охотник читать нотации с утра до ночи, но родственники это любят. К тому же первый правнук. Не бойся, я им не скажу и очень удивлюсь, когда они мне скажут.

— Ты славный,— отозвалась она с благодарностью.— Спасибо тебе. Это ничего, что ты знаешь.

Он положил ей руку на плечо. Минуту они стояли молча. Неожиданно она вздрогнула.

— Скажи, папа Хэнкок,— внезапно спросила она приглушенным голосом, не глядя на него,— это очень страшно?

— Нет, детка, это не так уж страшно.

Она ничего не сказала, но он почувствовал, что она успокоилась.

— Значит, это случится в ноябре,— произнес он и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Что ж, неплохое время, Дженни. Взять хотя бы нашу старую кошку Марселлу — второй раз в году котята у нее бывают как раз в октябре-ноябре. И неплохие котята.

— Какой же ты циник, папа Хэнкок!

Она назвала его циником, но по ее тону он понял, что она не сердится; и снова, когда они шли к дому, он смотрел, как легко она ступает, и чувствовал дыхание юности.

В середине лета, когда зеленые поля пожелтели и порыжели, Уила Хэнкока навестил его старый друг Джон Стёрджис.

Он приехал с сыном и внучкой, а еще привез двух более сомнительных родственниц — молодое поколение без разбора величало их «кузиной» и «тетей»,— и на время большая веранда дома Хэнкока наполнилась суматохой семейного торжества. Все были больше обычного возбуждены, все были больше обычного разговорчивы, и хотя съехались они не на свадьбу и не на похороны, событие это было не менее важным; и в сердце каждого Хэнкока и каждого Стёрджиса зрела крупица особой благодарности и гордости — ведь они стали свидетелями встречи двух таких ветхих старцев.

Родственники, завладев стариками, наперебой ими хвастались. А старики сидели тихо, сложив на коленях желтоватые руки. Они знали, что ими владеют, но от этого наслаждались и гордились ничуть не меньше остальных. Вот они здесь сидят, и это прекрасно. Молодые, конечно, не понимают, как это прекрасно.

Наконец Уил Хэнкок поднялся.

— Спустимся в погреб, Джон,— сказал он мрачно.— Хочу тебе кое-что показать.

Таким вот хитрым ходом с незапамятных времен начиналась старая игра. Ответ тоже был знакомый.

— Как же так, папа, через минуту Мария принесет лимонад, к тому же я попросила ее испечь кексы с орехом! — воскликнула старшая дочь Уила Хэнкока.

— Лимонад! — фыркнул Уил Хэнкок. Потом прибавил нежно: — Бог с тобой, Мэри, у меня для Джона Стёрджиса припасено кое-что другое — лекарство от всех его хворей.

Спускаясь в погреб, он улыбался себе в усы. Они, там, на веранде, все еще возмущаются. Бубнят, что в погребах сырость, а старики, мол, такие слабые, что сидр прокис и что в их возрасте можно, казалось бы, поумнеть. Но они протестовали не всерьез. И если бы ритуальный визит в погреб не состоялся, всех постигло бы разочарование. Тогда ведь — как ни крути — их старики уже не были бы такими замечательными.

Они прошли через молочный погреб, где стояли огромные железные кастрюли с молоком, и оказались в винном. Там было прохладно, но воздух был свежий, не пахло ни сыростью, ни плесенью. У стены стояли три бочки, на полу лежал круг желтого света. Уил Хэнкок взял с полки оловянную кружку и молча откупорил дальнюю бочку. В кружку потекла жидкость. Это был старый, желтый как солома сидр, и когда Уил поднял кружку и вдохнул, в него вошла душа побитых яблок.

— Садись, Джон,— сказал Уил Хэнкок и передал ему полную кружку.

Друг поблагодарил его и опустился в единственное стоявшее там потертое кресло. Уил Хэнкок наполнил вторую кружку и сел на среднюю бочку.

— За преступление, Джон!

Это была испытанная временем фраза.

— Будь здоров! — с жаром произнес Джон Стёрджис и отхлебнул.— М-м-м... с каждым годом все вкуснее, Уил.

— Неудивительно, Джон. Он ведь стареет вместе с нами.

Несколько минут оба сидели молча, с видом знатоков посасывая из кружек, глядя друг другу в выцветшие глаза, вбирая друг друга глазами. Теперь каждая такая встреча стала для обоих настоящим торжеством, старики с нетерпением ее ждали и потом еще долго перебирали в памяти, но они дружили уже столько лет, что могли обходиться почти без слов. Наконец, когда кружки наполнились вновь, Джон Стёрджис сказал:

— Я слышал, Уил, у вас в семействе намечается при-

бавление. Что ж, это замечательно.

— Тоже об этом слышал,— отозвался Уил Хэнкок.— Она славная, Дженни.

— Да, славная,— безразлично произнес Джон Стёрджис.— Ну вот, привезу Молли новость. Ей будет любопытно. Она-то надеялась, что вас опередят молодой Джек с женой. Но пока никаких признаков.

Он покачал головой, и по его лицу прошла тень.

— Я не думал, что ты придаешь этому такое значение, хотя новость, конечно, интересная,— сказал Уил Хэнкок, пытаясь утешить друга.

— В газете напишут,— с оттенком горечи прибавил Джон Стёрджис.— Четыре поколения. Хоть и не прямой, так сказать, правнук. Уж я-то их знаю.

Он сделал глоток побольше.

— Ну и нагорит же мне дома,— признался он.— Молли решит, что я спятил. А зачем жить, если только и делаешь, что раздражаешься?

— Да ты никогда так хорошо не выглядел, Джон,— дружелюбно вставил Уил Хэнкок.— Никогда.

— Да, в основном чувствую себя бодро,— согласился Джон Стёрджис.— Ну, а ты выглядишь просто четырехлетним ребенком. Хотя зима...

Он не докончил фразу, и оба на мгновение умолкли, думая о наступающей зиме. Зима, недруг всех стариков.

Вдруг Джон Стёрджис подался вперед. На щеках его заиграл давно отживший румянец, глаза внезапно зажглись.

— Скажи, Уил,— страстно начал он.— Мы с тобой многое повидали на своем веку. Скажи мне, как ты думаешь... что же это все-таки такое?

Уил Хэнкок не стал притворяться, будто не понял вопроса. И не мог отказать другу в ответе.

— Не имею понятия,— произнес он наконец серьезно и медленно.— Я думал об этом, но — видит бог — ничего не понимаю.

Джон разочарованно откинулся на спинку кресла.

— Да, плохо,— проворчал он.— Я ведь тоже об этом думал. Так вроде ничего другого и не делаешь, только все время *думаешь.* Ты у нас образованный, но если и ты не понимаешь, тогда...

Он уставился в пустоту — в его холодном взгляде не было ни страха, ни гнева. Уилу Хэнкоку захотелось помочь ему.

И снова глазам его предстали трое под яблоней, каждый был частью его, каждый был с женщиной, каждый твердил: «Вот она, любовь». Но теперь, очутившись во власти фантазии, он заметил четвертую пару — старика, который все еще держался очень прямо, и девушку, которая шла все той же легкой походкой несмотря на отяжелевшее тело.

Он разглядывал вновь прибывших сначала с недоверием, потом с легкой улыбкой. Летом, когда он сидел под яблоней, Дженни почти каждый день приходила его звать. Он видел, как она глядит через пропасть, их разделявшую, и понимает, что все не так плохо, как она считала. А ведь я и сам мог бы быть старым деревом, подумал он. Или старой скалой, куда приходишь, если хочется побыть одному.

Были у них и другие родственники — его и ее. И дом был полон женщин. Однако приходила она к нему. Для всех он оставался «папой Хэнкоком», их замечательным стариком, их собственностью. Но Дженни была не совсем его рода-племени и поэтому набиралась у него мудрости покоя, которой, сам того не ведая, обладал он.

Он слышал, как в густой траве стрекочут насекомые, и вдыхал запах сена, запах летних дней. Любовь? Нет, конечно, нет. Да и какая могла быть любовь? Для нее это было лето и старое дерево, для него... он знал, что это было для него. Она нравилась ему, безусловно, но разве это ответ? Не она его волновала. И все же в какой-то миг он ясно услышал, как на ладах побежденной плоти затре-

петала одна-единственная серебряная струнка. Стоило ему о ней подумать, как струна зазвенела вновь, прозвучала бессмертная нота. И стихла, ничто уже не заденет ее.

— На днях я тоже об этом думал и вот хотел сперва понять, что такое любовь, но...— начал было Уил и осекся.

Да и к чему продолжать? Джон Стёрджис — его старый друг, но невозможно высказать, что у тебя на уме.

— Чудно́ слышать это от тебя,— задумчиво произнес Джон Стёрджис.— Знаешь, прихожу я недавно домой, а Молли спит в кресле. Сначала я испугался, а потом понял, что она просто спит. Только проснулась она не сразу — наверно, я тихо вошел. Ну вот, стою я и смотрю на нее. Ты был у нас на золотой свадьбе, Уил, но знаешь, она так разрумянилась во сне, так похорошела. Я подошел и поцеловал ее, как старый дурак. Зачем я это сделал?

Он помолчал.

— Ни черта не понимаю,— сказал он.— В молодости есть силы, но нет времени. А в старости времени хоть отбавляй, но постоянно засыпаешь.

Он допил остатки сидра и поднялся.

— Ладно, надо идти, а то Сэм будет меня искать,— сказал он.— Хороший был сидр.

Проходя через молочный погреб, они заметили, как в маленьком решетчатом окне появилась черная усатая мордочка и виновато скрылась, заслышав голос Уила Хэнкока.

— Эта старая кошка только и знает, что подбираться к молоку,— сказал он.— Постыдилась бы, после стольких котят. Хотя, сдается мне, нынче осенью она родит в последний раз. Выходит ее время.

Церемония семейного отъезда близилась к концу. Уил Хэнкок жал руку Джону Стёрджису.

— Заезжай, Джон, и бери с собой Молли. В бочке у меня всегда найдется глоток спиртного.

— И какой глоток! — отвечал Джон Стёрджис.— Спасибо, Уил. Но думаю, этим летом уже не выберусь. Разве

что следующей весной.

— Вот и хорошо,— сказал Уил.

Но оба знали, что между ними лежит тень холодных месяцев, тень, сквозь которую предстояло пройти. Уил Хэнкок смотрел, как его другу помогают сесть в автомобиль, как автомобиль отъезжает.

«Джон стал совсем плохой,— подумал он как о чем-то неизбежном.— А Джон, наверно, говорит сейчас то же Сэму — обо мне».

Он повернулся к своим. Он устал, но не хотел сдаваться. Домашние окружили его, болтали, спрашивали. После визита Джона Стёрджиса он на время сделался в их глазах еще более замечательным стариком, и теперь, когда Джон уехал, он должен сыграть свою роль достойно. И он играл, а они ничего не заметили, но про себя думал, когда настанет зима.

Задули первые осенние ветры и улеглись; поутру Уил Хэнкок стал замечать на земле иней. К одиннадцати часам иней таял, а на следующее утро появлялся вновь. И теперь, когда Уил шел к яблоне, над ним проплывали голые сучья.

В тот вечер он рано отправился спать, но прежде чем лечь, еще постоял у окна, глядя в небо. Оно стало уже совсем зимним, звезды сидели в нем крепко. Однако день был довольно мягким. Дженни хотела, чтобы ребенок родился бабьим летом. Ну, дай-то бог.

Ночами он стал спать особенно чутко — просыпался от малейшего шума. И когда в доме засуетились, он проснулся сразу. Но продолжал лежать в полудреме, даже не взглянув на часы. По лестнице забегали — вверх-вниз, он прислушался; раздался резкий голос — и сразу зацыкали; кто-то пытался дозвониться по телефону. Они были так знакомы ему — звуки шепчущей суеты, что ночью поднимают на ноги дом.

Да, подумал он, все-таки женщинам очень тяжело. Муж-

чинам, правда, тоже, когда такое дело. Но рано или поздно придет врач и вытащит из своего маленького черного саквояжа удивительную куклу, завернутую в один-единственный капустный лист. Когда-то он сам был такой куклой, хотя теперь уже ничего не помнит. Сейчас они вряд ли обрадуются, если он к ним выйдет, но он все равно пойдет.

Он встал, надел халат и на цыпочках стал пробираться по длинному коридору. В ухо влетел пронзительный шепот: — *Папа!* Ты *с ума сошел?* Марш в *постель!* — Но он лишь покачал головой в ответ на шепот и пошел дальше. На верхних ступеньках лестницы он встретил Роберта, своего внучатого племянника. Лицо юноши взмокло от пота, и он тяжело дышал, как после бега. Они взглянули друг на друга с сочувствием, но без понимания.

— Как она? — спросил Уил Хэнкок.

— Спасибо, дедушка, все хорошо,— с благодарностью ответил Роберт, продолжая нашаривать в кармане халата сигарету, которой там не было.— Доктор уже едет, хотя, наверно... наверно, это еще не начало.

Кто-то позвал его, и Роберт исчез. Неожиданно в коридор высыпала вся семья, столпилась вокруг Уила Хэнкока и ободряюще загудела, но он не обращал внимания. Вдруг из-за закрытой двери он услышал удивленный и ясный голос Дженни: — Как это мило со стороны папы Хэнкока, Боб! Только напрасно его разбудили, да еще и тревога-то ложная.

Ободряющий гул усилился. Он нетерпеливо отмахнулся от него и побрел к себе. Но завернув за угол, бросил виноватый взгляд через плечо и поспешил к черной лестнице. Они за мной не пойдут, подумал он. У них есть о чем поговорить.

Оказавшись в винном погребе, он включил свет и плотнее запахнул халат. Там было холодно, а будет еще холоднее. Но сидр всегда сидр, к тому же хотелось пить. Он задумчиво потягивал желтую жидкость, покачивая ногами, постукивая каблуками о бочку. Они все еще шеп-

чутся, советуются там, наверху. И наверно, в конце концов придет врач со своим черным саквояжем, и завтра в газете появится объявление, и Джон Стёрджис будет завидовать. Но не в его власти что-либо изменить!

И в жизни Дженни он ничего больше не мог изменить. Она набралась его мудрости и стала с ней жить. Он был рад этому. Но теперь по ее легкому тону он понял, что она поднялась над его мудростью. Умолкла струна, с дерева облетели листья, упали на землю — иссохла мудрость. Что ж, она славная девушка, а Роберт — достойный молодой человек. И наверняка у них будут еще дети, а их дети родят своих детей.

Он услышал шорох в другом конце погреба, пошел посмотреть и присвистнул: «А, это ты, старушечка! Времени зря не теряешь». Это была старая черная кошка, что таращилась на них в оконце молочного погреба, когда он был здесь с Джоном Стёрджисом. Сейчас она облизывала своего третьего котенка, а первые двое тыкались в нее носом и попискивали.

Он наклонился и погладил ее по голове. Она посмотрела на него встревоженно.

— Не бойся,— успокоил он.— Они забыли про нас обоих — что ж тут удивляться, но я пока побуду.

Он налил себе вторую кружку и, усевшись на бочку, принялся снова раскачивать ногами. И здесь он не в силах что-либо изменить — в таких делах кошки мудрее людей. Но как бы то ни было, он останется.

Сидра в кружке становилось все меньше, а Уил Хэнкок замерзал все больше и снова стал грезить наяву. Изредка он подходил погладить кошку, но делал это машинально. Вот он сидит здесь, в старом пустом погребе, пьет сидр, который вряд ли пойдет ему на пользу; и теперь, по всей вероятности, умрет от переохлаждения. А наверху, быть может, жизнь и смерть и врач — новая жизнь пробивает себе дорогу в мир, а смерть ждет случая, чтобы перехватить ее, лишь только она появится, как это заведено

у смерти. И все эти жизни и смерти так или иначе связаны с ним — ведь он звено в их цепочке. Но на мгновение он оторвался от них. Он очутился вне жизни и смерти.

И вновь глазам его предстали три пары из первого видения — и еще он и Дженни — он, сам того не ведая, передающий Дженни свою неосознанную мудрость. «Вот она, любовь — вот она, любовь — вот она, любовь»... И все это была любовь, ее разные жизни, ведь каждый из трех говорил сердцем. Потом он посмотрел на яблоню — она была в цвету, но с нее свисали и плоды, зеленые и спелые; он вгляделся и увидел, как ветер срывает последние листья с обнаженных ветвей.

Его охватила дрожь — как же он замерз. Поставив кружку на полку, он в последний раз пошел взглянуть на Марселлу. Муки ее кончились — она лежала на боку в окружении своих новорожденных. Глаза ее горели загадочным зеленым светом; он наклонился, потрепал ее по голове, и она накрыла котят лапой, словно рукой.

Он с трудом поднялся, выключил свет и пошел прочь. Взбираясь по лестнице, думал: «Я знаю тебя, драгоценная жизнь. Я знаю, зачем тебя дали — чтобы потом отобрать».

Когда он на цыпочках пробирался к себе, в доме уже все стихло. Никто не обнаружил его бдений, и ни к чему был его ночной дозор. Но он нес свой дозор. Ведь завтра, может, и не придется — он и сейчас весь дрожал от холода. И все же он остановился у окна и долго смотрел в зимнее небо. Звезды еще сверкали на нем яркими точками; он не увидит, как они начнут меркнуть, но, что бы ни случилось, как прежде будет вращаться земля.

Содержание

Бене С. В.

Б 46 За зубом к Полю Ревиру: Рассказы/ Пер. с англ. Сост. В. Голышева и А. Зверева. Предисл. А. Зверева.— М.: Известия, 1988.— 256 с. (Библиотека журнала «Иностранная литература»)

От исторических и фольклорных сюжетов — до психологически тонких рассказов о современных нравах и притч с остросоциальным и этическим звучанием — таков диапазон прозы Бене, представленный в этом сборнике. Для рассказов Бене характерны увлекательно построенный сюжет, юмор.

Б $\frac{4703000000—023}{074(02)—88}$ 74—88

ББК 84. 7(США)
И(Амер)

СТИВЕН ВИНСЕНТ БЕНЕ

ЗА ЗУБОМ К ПОЛЮ РЕВИРУ

Редактор *Т. Иванова*

Художественный редактор *С. Мухин*

Технические редакторы *Г. Голосовская, И. Клыкова*

Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 1291

Сдано в набор 31.12.87. Подписано в печать 29.08.88. Формат 70 × 100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,4. Усл. кр.-отт. 21,1. Уч.-изд. л. 11,61. Тираж 50 000 экз. Зак. № 1378. Цена 1 р. 20 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.

1 р. 20 к.

Автор знаменитой поэмы ''Тело Джона Брауна''

Стивен Винсент Бене (1898–1943),

один из крупнейших американских поэтов 20-х годов (знакомый советскому читателю по антологии ''Поэзия США''), почти не известен нам как прозаик.

Между тем его рассказы, отмеченные неподдельной оригинальностью, не затерялись и на фоне таких свершений, как новеллистика Фолкнера или Хемингуэя. Ироничное повествование, нередко использующее фольклорные сюжеты и обращенное к ранним страницам истории американского государства, соседствует у Бене с рассказами-притчами, зарисовками быта и нравов статистически благополучного ''среднего американца'', а порой — с высокой гражданственностью, которая одухотворена антифашистским пафосом. Лукавый, насмешливый, каким его запомнили друзья, Бене остался в литературе непоколебимо твердым гуманистом, художником, добивавшимся трагической глубины.



Stephen Vincent Benét

Стивен Винсент Бене • За зубом к Полю Ревиру

ИЛ